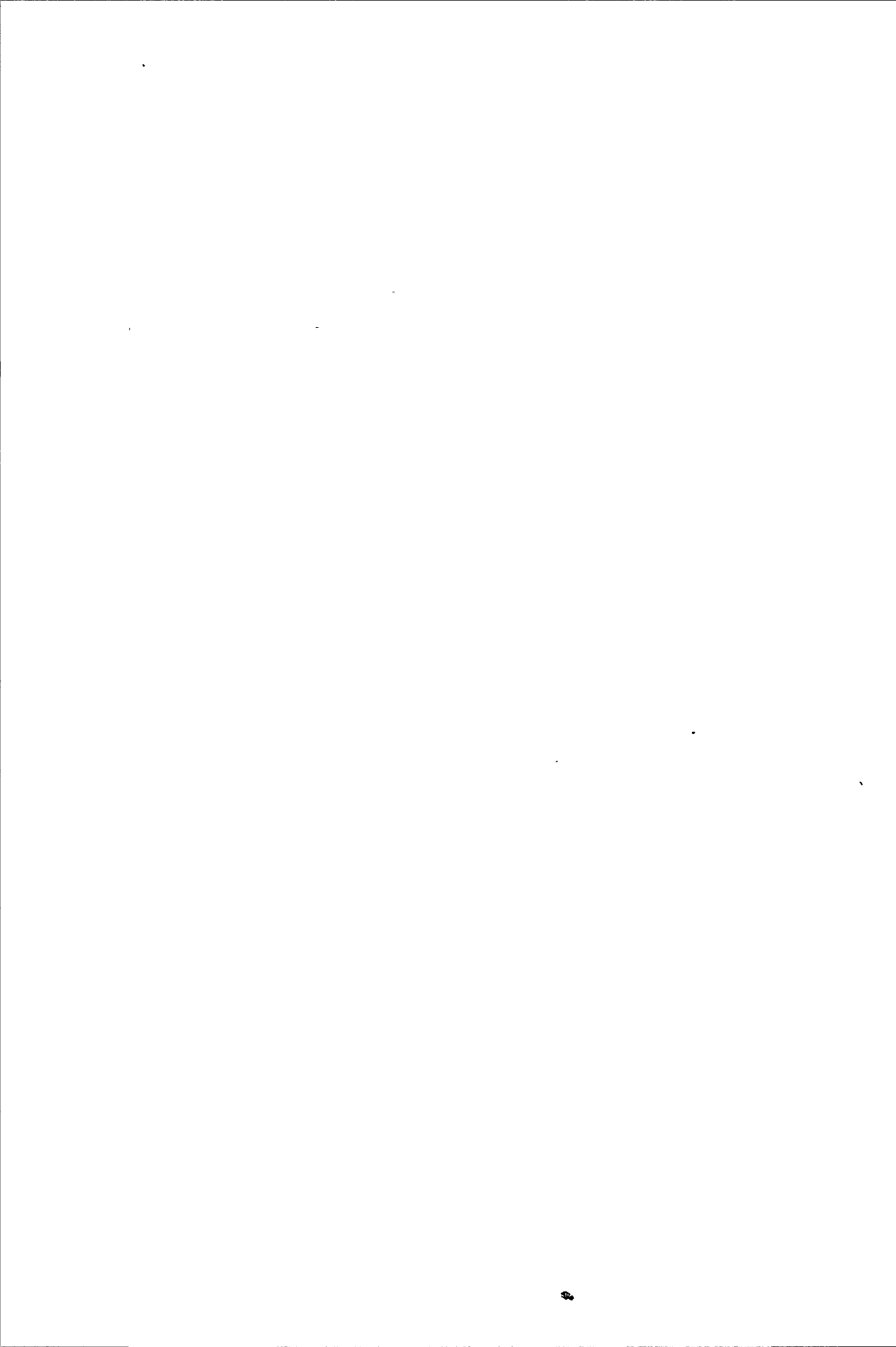


К Р У Г

А Л Ь М А Н А Х

П А Р А Б О Л А



К Р У Г

А Л Ь М А Н А Х

П А Р А Б О Л А

**Alle Rechte, insbesondere das der Uebersetzung,
vorbehalten.**

Copyright by the author.

Druck: Speer & Schmidt, Berlin SW 68

Борис Поплавскій.

ДОМОЙ С НЕБЕС.

Таня и Олег, прыгая по скалам, спускались к водѣ — она впереди, играя, наслаждаясь безстрашіем, точностью движеній и силой коричневых ног, он сзади часто срываясь, неуклюже оступаясь и обдирая руки, переволнованный, обалдѣвшій от любви, стѣснительности и жары. В другое время он охотно принялъ бы участіе в гонкѣ, сам бы пощеголялъ отчаянностью, но сейчас кровь слишком стучала у него в ушах, так что он едва поспѣвал за нею, наконец, измучившись и вспугнув цѣлую колонию нюдистов, как худые красные раки, прятавшіеся за камнями, они сползли на плоскія глыбы скалистаго мыса и сѣли, все овѣваемые свѣжестью водяной пыли, пролетавшей над ними при каждом ударѣ волны. Вѣтер усиливался, на горизонтѣ лежала тонкая бѣлая полоска, там за горизонтом была буря и оттуда высокими рядами шли волны, по временам в нетерпѣннн теряя кипящіе бѣлые гребни.

Подходя близко волна вырывала перед собою синюю яму, на днѣ которой с шумом перекатывались блестящіе камни, подымалась высокою синей стѣной, вот вот захлестнет, и взметнувшись ударяла о скалу. Тогда пѣна поднималась выше их головы, в трещинах между

скалами синева кипя набѣгала вперед, но волна уходила и тогда из них в обратную сторону клочотали цѣлые водопады.

Но так надоѣло сидѣть, Таня подалась ближе, скинула туфли, и широкіе подолаы ея выцвѣтшаго пижама потемнѣли от воды, но и этого ей было мало, ошалѣвъ она лѣзла на мокрые камни и Олег неприятно по стариковски пугался за нее, потому-что под ослѣпительным небом море и вѣтер видимо на глазах сатаиѣли, теперь волна приближалась в ракурсѣ с дом величиной, Таня в смѣшливом ужасѣ шарахалась назад, крича что-то, но ничего не было слышно, и дикой свѣжестью на лицо и грудь с неба валилась вода, платье и волосы липли к лицу, они жмурясь утирались, фыркали, а в отвѣт с бутафорским, хрустальным громом, обдавая их с ног до головы, вновь и вновь наступали волны, одна из них, особенно сильная, чуть не стащила Олега за собою, так что он едва удержался уцѣпившись руками и ногами и не на шутку струсил; зрѣлище теперь было грандіозное и опасность не малая, потому что в таком котлѣ никакое плаванье не поможет, да и Таня, как часто бывает с сильными от природы людьми, спорта не понимала, плавала плохо.

Среди непрерывных фонтанов, в непрекращающемся, счастливом шумѣ, они теперь смѣялись до упаду, обнаглѣвъ до безразсудности, между двумя волнами лѣзли в самое пекло; Таня раскрывала руки, зажмурившись подставляла лицо водѣ и, хулиганя и наслаждаясь, окончательно расшевелила и успокоила Олега.

Наконец натѣшившись, измученные, счастливо усталые, мокрые как щенки, они полѣзли назад, нашли свои

туфли и неуклюже принялись их одѣвать на мокрыя розовыя как раковины ноги, кое как пятерней причесали волосы и двинулись в обратный путь уже по горной тропинкѣ и, скоро выйдя из каменнаго хаоса, наткнулись на бѣлую скучающую группу русских дачников с папиросами и «Послѣдними Новостями», которые с каким-то суевѣрным недоумѣніем уставились на них.

Сново желтая широкая спина Тани, теперь уже не такая страшная, враждебная, покачивалась перед Олегом, а он был почти счастлив, вѣдь еще цѣлый мѣсяц таких художеств, но скоро у калитки им пришлось расстаться, ибо Танѣ теперь нужно было влѣзть в окно собственной комнаты, так-как все взрослое буржуазное общество давно сидѣло за столом на площадкѣ. А Олег, вновь попав в свою низовую категорію и оставшись один в лѣсу, побрел, куда глаза глядят, искать Безобразова, чтобы вмѣстѣ с ним как индѣйцы пробираться на кухню и жевать там свой вѣчный рис с томатами и постным маслом, который теперь они на четыре дня вперед варили на мангалѣ, впрочем аппетита у них были волчьи, а ѣсть послѣ моря великое наслажденіе.

Послѣ обѣда Таня запиралась заниматься, но едва закрывались ставни, тотчас же засыпала в духотѣ, плечом и лицом на страницѣ все той же, замусленной от ея сонной тяжести. В полднейной пустынкѣ Олег блуждал дик и нелюдим, с выгорѣвшими волосами, то там, то сям безцѣльно появлялся на скалах. Время ожиданія шло медленно и все вокруг казалось неинтересным, черезчур назойливо ярким, то грозным, чужим, враждебно, ослѣпительно равнодушным. Волны все так же медленно, мягко ложились на песок и, казалось, во-

да дремала там пол минуты, прежде чѣмъ опять пошевелиться, нисколько не ускоряя своего привычнаго ритма, оттого-что Олег, злобно шурясь на синюю даль, ждал сидя на пескѣ. Ему бы хотѣлось, чтобы все, как это бывает иногда в кинематографѣ, ускорилось, понеслось к шести часам. А в шесть часов в мертвой тишинѣ, внимая хрусту собственных шагов по гравію, он как к львиной клѣткѣ подходил к дачѣ и стучал в окно, не получая отвѣта. Осторожно раскрывал ставень, и разбуженная ярким свѣтом и пристыженная Таня с отоспанным, красным, кухарочным лицом вскакивала и принималась причесывать волосы.

Вскорѣ в комнату также через окно влѣзала Надя, широколицая дѣвушка необычайно кукольной, атлетической красоты. В противоположность Танѣ она была непосредственно и наивно кокетливо смѣшлива, на все смотря огромными вызывающими синими глазами, хотя также, как и она, инстинктивно по звѣриному молчаливая и скрытная, а вслѣд за ней вперся ея душегуб, охранитель, высокій, сумрачный красавец с убѣжденіями, говорящій на странном парижском русском жаргонѣ, смѣси галлицизмов и зощенковских словечек. Надя и Таня всегда молчали вмѣстѣ. Таня зло, умно, напряженно ожидая, схватывая, утилизируя, осуждая всякое слово. Надя наивно, грубо, глубоко смѣшливо, как небо раскрыв свои огромные, выпуклые, голубые глаза, совершенно лишенные взгляда, великолѣпный, податливый по звѣриному, неуловимый экземпляр русскаго сексуальнаго творчества.

Это было прекрасное соединеніе атлетических молодых тѣл, сгученных в небольшой комнатѣ, выбѣленной известкой, в окнѣ которой вовсе не было ни рам, ни

стекло, а только зеленая итальянская, античная ставня в одну створу. Но над ними плавала, висѣла, вѣчное мученіе, наслѣдственная, чопорная скука глубокорѣчивой русской чеховщины, не достаивающей говорить ни о чем земном и милом, не умѣющей без скуки говорить ни о чем возвышенном; дух борящійся с тѣлом. Внѣшнее, грубоватое, дѣланное товарищество, напряженная, суровая, любовная борьба внутри. Вѣчная нерадостная, мучительно знакомая русская гимназическая атмосфера.

Приходил (может быть на руках) и человек-обезьяна, молчаливая темнокоричневая статуя из одних мускулов, с красивым, замѣчательным, губастым, лицом испанскаго преступника, аристократа, художника. И наконец, ни вѣсть откуда, но уже через дверь по стариковски являлся Аполлон Безобразов, встрѣчаемый сумрачным, многозначительным взглядом вдруг темнѣвших Таниных глаз, и еще одна глубоко измученная жарой, грузинскаго вида барышня.

Разговора не получалось, потому что Олег столь же внутренне, как старшій, снобировал их, как внѣшне не умѣло пресмыкался, жаждучи из-за Тани поддержать компанію, терял искренность и достоинство и мучаясь этим злобно внутренне передразнивал их полурусскіе обороты рѣчи.

Поэтому всѣ любили танцовать. Во-первых конец разговорам, во вторых сексуальное освобожденіе, тайный сексуально эстетическій разряд до скуки старившей сердце молодости. Любили и выпить, но боялись, ибо гдѣ-то около ходил и жил грозный бородатый создатель, поддержатель, блестящеглазый, золотоочковый

бывшій революціонер, нынѣ ученый химик и крупный дѣловой мужик.

Странно в солнечной тишинѣ сада на скалистом мысу звучал механический голос граммофона. Печально, надтреснуто, как будто издалека, из Парижа, как будто по телефону слышный, слышимый. За окном ослѣпительная, полуденная духота смѣнилась теперь неподвижной сіяющей духотой вечерней. Цикады кричали еще громче, но сад был уже освѣщен оранжево-розовым свѣтом закатных облаков, а за ними внизу море приобрѣтало уже тот странный, свинцовый, тяжелый, масляный блеск, который сразу дѣлал все угрожающим и чуть нереальным, так что вот и жди что между двумя вѣтвями на далекой глади, до странности по сонному, по астральному четкій появится черный Эгейскій корабль с неподвижно висящим буро-красным парусом.

Медленно-спокойно, печально-упорно, как пчела, звенѣл граммофон и все продолжало наливаться красноватой, отраженной яркостью неба.

Вдруг понимая, вдруг видя что-то новое, чужое и неизбежно мучительное в Танѣ, Олегу уже не вѣрилось, что это она только-что все утро бродила, хулиганила с ним. Сумрачно кокетничая с Безобразным, Таня опять была величественной, каменной, тяжеловато надменной.

Нѣсколько раз уже Олег пытался встать и пригласить Таню, но сердце начинало так мучительно биться и он казался вдруг сам себѣ настолько неуклюжим, уродливым, узкоплечим, что он, психопатически боясь отказа, не мог рѣшиться, но все таки наконец встал. И едва помня себя, едва прикасаясь к Танѣ, обнял ее. Граммо-

фон заиграл «Jalousie», медленное, навсегда памятное цыганское танго того лѣта, и так, едва дотрагиваясь до нея, едва смѣя двигаться, поплыли они по комнатѣ и комната поплыла перед ними в розовато душных сумерках неподвижнаго августовскаго вечера. Они танцовали; сердце Олега вдруг обнаруживало, открывало, понимало, что они вмѣстѣ плывут в безконечную и безконечно долгую боль, униженье, пораженье, обиду, разлуку, но сила отплытія, отрыва, отчаливанья от земли и старой жизни была так могущественна, так нова, так стремительна, что Олег, не помня себя, не защищаясь, сам до боли раскрываясь, шел на нее, как будто шел на битву, тая, гибнучи безвозвратно, продаваясь в рабство в горячем розовом неподвижном воздухѣ вечера.

Звуки, тихо звеня, тихо, глухо рождаясь, медленно летя сквозь густой воздух, буквально отрывали теперь, губили Олега, сладко до боли, больно до сладости входя, вплывая, врѣзаясь в сердце. Казалось, огромныя дали, фрески, горы, сказочныя описанія городов и путешествій раскрывались гдѣ-то за окном и он кончиками пальцев не смѣл прикасаться, не смѣл чувствовать грознаго необычнаго тѣла танцующаго с ним божества. Танец кончился, но Олег теперь знал, что надолго раскрылось, проснулось сердце. Знал также, что Таня не любит и может быть даже никогда не полюбит его. Сумерки сгустились в нем ощутительно до задыханія, мучило его, сладостно рѣзало душу, что-то лѣтнее, грозное, неповторимое навѣк. И долго потом в своем лѣсу, как бѣглые каторжники, он и Безобразов, сидя друг против друга у двух пней, жевали безвкусный рис с томатами, заѣдая нечищенным сладким

огурцем, присмирѣвъ от явственнаго присутствія чего-то непоправимаго.

День наконецъ кончился, безконечно долгій лѣтній день. Слабосердечная истерическая экономка собирала объѣдать. Таня странно-угрюмо согласилась встрѣтить Олега послѣ того, какъ проводитъ Ивана Герасимовича, который стоялъ на другой дачѣ. Онѣ объѣ по уговору должны были вернуться домой, но тотчасъ же за калиткой не сговариваясь разставались, исчезая в темнотѣ по темнымъ своимъ дѣламъ. Олегъ в неудобной позѣ сидѣлъ при дорожкѣ на хвоѣ и ждалъ. Тьма в лѣсу была непроглядная. Музыка в Сен-Троpez не играла в будній день и тамъ далеко-далеко гдѣ-то за горами гудѣли моторы военныхъ аэроплановъ, совершавшихъ ночные полеты. Иногда одна изъ огромныхъ звѣздъ начинала двигаться между черными вѣтвями или двѣ-три симметричныя сразу. Но, пересѣкъши небо, онѣ исчезали в ровномъ рокотѣ и снова ночь вокругъ была непроглядна, прекрасна, враждебна, и Олегъ в ней, какъ доисторическій охотникъ, потерявъ, напряженъ, весь превращенъ в слухъ. Для него, городского подростка, кофейнаго юноши, эмигрантскаго молодого человѣка, выросшаго в дождѣ, все продолжало быть необычайнымъ и тишина была такъ сильна, такъ страшна, такъ совершенна, что Олегъ все время слышалъ шумъ крови в ушахъ. Далеко-далеко, издалека слышалъ Олегъ, какъ идетъ Таня, слышалъ послѣднія слова, которыя она посмѣиваясь бросила Надѣ «Ты поосторожьнѣе с нимъ», и тихій, четкій, издали приближающійся хрустъ — гравія подъ ея крѣпкими ножками, ея крѣпкихъ ножекъ по сухимъ вѣткамъ. И вотъ уже, слабо маяча между деревьями, бѣло возникалъ тихій, молчаливый, сказочный свѣтовой кругъ отъ ручнаго электрическаго фо-

наря. Олег притаившись молчал и бѣлый свѣтъ приближался, скрывая совершенно идущую за ним, и вдруг Олег почувствовал себя в фокусѣ электрическаго глаза и дико, как пойманный звѣрь, уставился на него.

В ту ночь, полную звѣзд, полную тяжелым запахом хвои, среди теплых, во тьмѣ не позабывших солнца камней, они впервые поссорились, и Олег, оторвавшись от Тани, в непродолжительном безуміи храбрости ушел блуждать по берегу, в зловѣщем свѣтѣ поздно вставшей ущербной луны, повторяя про себя любимыя, грубыя фразы свадебнаго марша Лоэнгрина, и вдруг разом погасло возбужденіе, сердце физически сжалось предчувствіем непоправимаго и он бросился искать ее и не нашел. О ужас, ужас, древняя потерянность, античное отчаянье среди великанов судьбы и природы. Бѣгом вернувшись к дачам, Олег с дикою мукой в сердце остановился растерянно на перекресткѣ нѣскольких дорожек. Луна теперь поднялась выше и весь лѣс был изрѣзан бѣлыми полосами, но гдѣ в них Таня. . . Куда ушла. . . Дома ее не было, Олег уже успѣл заглянуть в низкое окно. . . Гдѣ, куда, в какую сторону пошла в этом грозном хаосѣ деревьев, луны и камней. Отчаянье, отчаянье. . . Я ее никогда не увижу, все пропало, и над ним, вырѣзаясь черными силуэтами на театрально посинѣвшем небѣ, наклонялись огромныя, хвойныя чудовища, как будто их вѣтви, качаясь, вытягивались в неподвижной лунной бурѣ, безшумной бурѣ луннаго свѣта, как исполинскіе черные волосы, относимые безшумным вѣтром. . . А у их ног Олег буквально ломал и грыз себѣ руки от неизвѣстности и тревоги, и все опять казалось театром, все только притворялось небом, деревьями, луною, чтобы лучше его

истребить и уничтожить. Его душу, слишком высоко взлетѣвшую, взошедшую в одиночествѣ и поэтому, как бѣшенная собака, осужденную цѣлою природой.

В ту ночь, полную звѣзд, они впервые поцѣловались, на нѣсколько часов в ошалѣніи чувственности совершенно потеряв чувство дѣйствительности. Но не миром, не сладостным примиреніем и новой жизнью встрѣтились их губы, а чѣм-то яростно, беспощадно недобрым. Таня в его сильных лапах вся перегибалась, застывая на землѣ, как в каталепсїи, он же, безрадостно шалѣя, мял, ломал и цѣловал эту крѣпкую, горячую плоть в тревожном, тяжком обалдѣніи неожиданности и тайнаго подвоха, покуда, изомлѣв и настрадавшись-насладившись, она, охваченная каким-то раскаяньем, не сказала ему. . . «Нѣтъ, я не могу любить, есть человек, с которым я связана, которому я должна. . . Я устала, изолгалась и не в силах теперь напречь душевных мускулов, раскрыться сердцем навстрѣчу вам. . .» Значит вы не хотите играть на чистыя деньги, а только на мелочь, так не надо мнѣ вашей похабной мелочи. . . Счастливо оставаться...» Олег, весь обожженный, весь взбудораженный Таниными звѣрскими ласками, отрывается от нея и, вдруг сатанѣя, вдруг со всею страстью любви ожесточаясь, каменѣя, подхваченный, скрученный воинственным сумасшествіем обиды, исчезает во тьмѣ. Таня думает, что он вернется, застегивается, ждет; мрачно, презрительно, горько встает и увѣренно, не спотыкаясь, спускается с откоса сквозь заросли, быстро доходит до спящаго Сен-Тропеза. Как атлетическое привидѣніе, бродит по улицам и вдруг встрѣчает всю полувзрослую банду Олеговых врагов. Пьет и танцует с ними до утра, и тоже до утра Олег проискал ее, про-

стерег, пробуждал, обливаясь слезами, страшась, раскаиваясь, наивно думая даже, не упала ли она гдѣ-нибудь со скалы. Сам мечтая броситься откуда-нибудь повыше, покуда утро не начинается голубѣть и он, как от удара зажмурившись и закрывшись от него руками, не заползает в палатку, не проваливается в тяжелое, счастливое небытіе, потому что с этого дня, с этой ночи и началась Олегова каторга.

И снова над Сен-Троpez раскрылся ослѣпительный августовскій день. Он может-быть был еще безупречнѣе, еще лучезарнѣе, еще спокойнѣе, потому-что, отрокотав свою солнечную службу, цикады вдруг ослабѣли, затихли и замолкли совсѣм, как будто их никогда не бывало. Раскрыв глаза, Олег не сразу, а только на второй такт кровообращенія, вспомнил случившееся. Сначала увидѣвъ снова яркія, восхитительно новыя вѣтви в синевѣ над собою, ему захотѣлось засмѣяться, растолкать Безобразова, но ровно через секунду сознание чего-то непоправимаго и неотложнаго толкнуло, сжало ему сердце так, что он сперва болѣзненно расширил глаза и сейчас же зажмурился и тотчас же непоправимое начало сбываться и ад Олега начался.

С утра Таня ушла на базар в Сен-Троpez вмѣстѣ с экономкой; бѣжать за ними, искать ее было бы бессмысленно и смѣшно, потому-что Таня на людях отлично владела собою, особенно каменно цѣдила слова, сквозь зубы с тѣми, с кѣм с глазу на глаз выясняла отношенія. В атмосферѣ мира это еще прибавляло к ост-

ротъ счастья, ибо включало как бы кусок не-любви в ткань любви, отмѣчая, подчеркивая пройденное разстояніе, или кусок начала любви в ея продолженіе. Как пріятно иногда как бы со стороны церемонно поздороваться с любимым человеком на балу, когда в лучшем своемъ платьѣ и в яркомъ всеоружіи своихъ чаръ онъ является намъ в томъ загадочномъ ореолѣ минутной официальнойности и смущенія или нарочитой чопорности, в которой онъ нѣкогда впервые предсталъ изумленнымъ очамъ, но в часы ссоръ эта дѣланная отчужденность настолькоъ подходитъ на настоящую, что Олегъ буквально страдалъ отъ Таниной вѣжливости.

Слѣдственно нужно было скоротать время до послѣобѣда и в этомъ мучительно тревожномъ состояніи это было адски трудно. Снова Олегъ заплылъ за тридевять морей и не безъ труда воротившись на совершенно пустой пляжъ, с котораго всѣ русско-французскіе молодые люди убрались тонкими ногами по своимъ дачамъ, наткнулся вдругъ на предметъ своего давняго и безсильнаго вождельнія — бѣлую душегубку, принадлежавшую одному аристократу с наклеенными волосами, особенно недоброжелательно всегда смотрѣвшему на Олега.

В то утро море блеснуло в послѣдній разъ Олегу своимъ ослѣпительнымъ синимъ покоемъ. Онъ еще не зналъ, что это в послѣдній разъ, онъ еще не вѣрилъ в разлуку, какъ живое долго не вѣритъ, долго противъ очевидности не вѣритъ в смерть. Быстро и неуклюже вихляя, лодка отдалялась отъ берега. Вотъ уже то мѣсто, до котораго обычно на зло дачникамъ Олегъ доплывалъ. Не вернуться ли. Вѣдь ты усталъ отъ плаванья и ладони болятъ отъ весла. Нѣтъ, дальше в синее-синее, туда гдѣ бѣлымъ холмикомъ, подобно баркѣ, в отдаленіи виднѣется забро-

шенный маяк, буй, мишень для стрѣльбы, не понять что.

Еще раз Олег отвернулся от берега, чуть не перевернув душегубку. Безграничное синее, необъятно голубое снова раскрылось перед ним. . . Дальше и дальше. Волны теперь, когда он вышел из-за мыса, превратились в длинныя, высокія, глубокія, равномерныя, синія горы. Они идучи к берегу тормозили лодку и она, казалось, не двигалась больше с мѣста. Раскаленное солнце пылало над его головой, но несмотря на тревогу о том, что теперь от берега и до островка далече, Олег по временам забывал все на свѣтѣ и, положив весло, заглядывался, опрокидывался в непорочное счастье зрѣнія. Особенно внизу там на большой глубинѣ было дивно красиво. Сквозь темно-лиловый хрусталь на днѣ все еще видны были какія-то черныя полосы и болѣе свѣтлый песок. Сзади Сен-Тропез — Сен-Максим, все исчезло и сблизилось тонкой полоской песка под зеленой полоской сосен. Зато горы наоборот выросли, надвинулись и над ними бѣлая облака высокими клубами увеличивали еще их высоту. Направо и налево показался неизвѣстный берег, сильно качало и нужно было проснуться и наваливаясь грести содранными руками. А когда Олег начал уже приближаться к островку, вдруг вылѣзшему из воды, большому, скалистому и сплошь покрытому птичьим наслоеніем, волны открытаго моря так били, так высоко поднимали лодку, что она почти до верху наливалась водой, но не тонула, ибо весь крытый нос и корма ея были непроницаемыми для воды. Но самое трудное оказалось вылѣзти. Скалы сразу без перехода уходили в глубину. Между камнями бурлила вода, пѣна и все вокруг было покрыто

острыми ракушками. В страхъ Олег посмотрѣлъ назад, но вернуться не отдыхая было совершенно невозможно. Наконецъ рѣшившись, он выбросил весло на камни, слѣз в воду, вытолкнул, выгацил, укрѣпил лодку и, поцарапанный, с дикой болью в спинѣ, качаясь от усталости, волненія и торжества, вылѣз на горячія скалы, окруженный облаком потревоженных птиц. Как далеко он однако забрался и сердце рвалось от одиночества, страха лазури и шири моря. Возвращаться было мученіем. Два часа он блуждал, ослабѣвъ, относимый волнами, причалил наконецъ за версту от исходнаго мѣста, наконецъ с жалким измученным видом человѣка, ждущаго похвал, вдоль берега вернулся к пляжу и сразу увидѣлъ Таню, прищуренно лѣниво и зло на него смотрящую, вполголоса, медленно разговаривающую с его врагами, он уже собрался с духом подойти, когда прямо к ним, на них, подошел узкоплечій, худой как скелет, арабскаго вида молодой человѣкъ и по тому порывистому движенію, которым Таня встала и они тотчас же, ни с кѣм не прощаясь, ушли в лѣсъ, на другой конецъ пляжа, Олег понял, что это и есть ея жених.

Солнце сѣло над берегом черным, такими представлялись мнѣ скалы, гдѣ бьется кандальник с судьбой. Жизнь моя, обѣщай, что ты меня не покинешь, дай еще попрощаться с тобой. Солнце сѣло и опять загорѣлся день, горы спрятались в каменные крылья, зеленныя перья холмов горѣли на солнцѣ. Высоко, высоко первородное существо, вѣчно новая, неповторимая лазурь, повторялась в водѣ. А далеко в морѣ еле видныя в молчаніи полдня, неподвижно все в той же позѣ лежали острова, куда раз в день из Леванду уходил коричневый баркас, долго, долго в раскаленной тишинѣ

стучал, шелкал своим допотопным мотором, наконец затихая, и снова цикады кричали, хотя голоса их были слабые.

Бѣлый воздух, раскаленный, жидкій, бѣлый огонь наполнял, раздѣляя всѣ предметы, все было скрыто, поглощено и соединено им, как реальным присутствіем всюду разлитого равнодушнаго божества.

О, раскаленное счастье, лѣто, мір без счастья, как ты прекрасен, безжалостен, ослѣпительно совершенен над моей каторгой, ибо именно над пустыней, над циклопическими крѣпостями, гдѣ задыхаются арестанты, над каменоломнями, гдѣ сухо и глухо стучат молоты закованных людей, над Рио-де-Жанейро, над Каледоніей, Гвіаной, стоит такое ослѣпительно безупречное солнце.

Каторга Олега началась. Таню теперь больше нигдѣ нельзя было встрѣтить, и только в обѣденное время, когда он, как безпризорный околачивался около кухни, на мгновенье появлялись ея выцвѣтшіе синіе штаны и снова до ночи она пропадала неизвѣстно гдѣ, вмѣстѣ со своим курчавым цыганенком-женихом, с его таким хрупким, таким болѣзненно тонким, никогда не загоравшим библейским лицом, и также, как нѣкогда Олег самодовольно радовался, как храбро она умѣла, ни с чѣм не считаясь и не показывая виду, уединяться с ним, бесконечно бродить, купаться, лазить по скалам, также и теперь, с тѣм же совершенством звѣринаго исполненія, она исчезала со своей узкоплечей жертвой и Олег, несмотря на неустанное вниманіе, не встрѣтил их ни разу, не увидѣлъ мельком нигдѣ, ни на пляжѣ у лѣнливой воды, ни в лѣсу, гдѣ палатка ея выроodka казалась совершенно необитаемой, ни в горах, ни на

дорогѣ. Исчезла, перестала быть. Олег пытался читать, он привез сюда множество книг, так-что едва донес чемодан, но до сих пор не прочел ни единой страницы, все казалось ему мертвой благополучной чепухой, иногда он входил в черное бѣшенство, напрягая мускулы, ища их, рыскал по скалам, но и это было бесполезно, они казалось уѣхали из Фавьер.

Черный от загара, мускулистый, всклокоченный, в каторжных выцвѣтших нагольных фуфайках, он блуждал по Леванду, встрѣчаемый и провожаемый удивленными недоброжелательными взглядами. Сидѣл на молу, мимо котораго не проходило пароходов, или в церкви, гдѣ не было молящихся. Теперь ему нравилась грязная вода в порту, бутылки и жестянки на днѣ, газетный кіоск. В мертвом униженіи, в унижительном осатанѣннѣи ревности, он появлялся то там, то здѣсь, больше не купался и даже не дѣлал гимнастики. Что до горных пустырей, скал, облаков, морских горизонтов, обо всем этом и не думал вовсе, все это казалось ему теперь шутовской декораціей, грубо намалеванным балетным занавѣсом. Все это грубо, грубо, грубо, зло твердил он про себя, какіе все-таки у Создателя примитивные вкусы в живописи, и только иногда за поворотом тропинки, между двух скал, поражала его микроскопическая бухточка своим бесполезным никому невидимым совершенством, там он ложился животом на песок и лицом к самой водѣ, мурлыча без слов, без мыслей, без жизни, рассматривая камни и гравій на днѣ. Желтыя, нагрѣтыя, каменные стѣны окружали его со всѣх сторон, все теряло пропорціи и разноцвѣтный гравій на днѣ казался ото всего независимым, неподвижно счастливым міром. Микроскопическія волны набѣгали, со-

грѣвая руки. . . Боль замирала. . . Лицом в песок засыпал, спал час-другой, забыв себя, и вдруг вскакивал, налитыми кровью глазами озирался и, ломая руки, опять принимался за тщетные поиски.

О каторга, каторга ревности, под ослѣпительным небом, зачѣм он сюда пріѣхал, поддался, соблазнился, отрекся от Аполлоновской жизни, неподвижно надменно атлетической, без счастья, без природы, без участи. И вот весь, годами скопленный, пыл слишком высоко забравшагося одиночки вырвался об землю навстрѣчу Танѣ.

Не видя, но постоянно видя ее перед собою, она казалась ему еще прекраснѣе. Мягкое и злое лицо с удивительно нѣжными, злыми и чистыми губами, насупленные брови и такія совершенныя звѣриныя и точныя движенія, поражали его прямо в сердце. В полдневной тишинѣ она была повсюду, она была нигдѣ.

Все теперь было отвратительно Олегу; море не звало купаться, горы не звали бродяжничать, ступать по песку было тяжело, как по клею, ѣсть не хотѣлось и только-что ночью сон спаситель не бѣжал с глаз. Послѣ обѣда они теперь всѣ вмѣстѣ, кромѣ Тани и ея нахала, всѣ вмѣстѣ, впав в черную меланхолю — мрачность неудачнаго лѣта — собирались под деревом на одѣялѣ играть в карты или на тюфякѣ в палаткѣ, которая, просвѣченная солнцем, казалась арабским розово-желтым полосатым шатром. Надя ссорилась со своим атлетическим славянофилом, он грубо по хозяйски ругал ее за карточные ошибки. . . «А что ты вообще умѣешь, ну ладно, сдавай. . . Ладно» Православная барышня, не выдержав жары и собираясь уѣзжать, смотрѣла на все огромными непомѣрными глазами, в которых недоу-

мѣвала грусть. Человѣкъ-обезьяна был погружен в свои необъяснимыя испанскія мысли, он теперь подвязывал волосы ремешком по индѣйски, у кисти накручивал какую-то тесьму, показывая в этом доисторическую дикарскую элегантность в украшеніи своего совершенно голаго тѣла. Аполлон Безобразов, высохшій и заросшій бородой, состязался в неподвижности с камнем, на камнѣ превращаясь в камень, отсутствовал и на удивленье всѣм читал Олеговы, с таким трудом и так бесполезно, на спинѣ принесенныя книги.

И куда это дѣлись без слѣда всѣ многотумныя книги Олега, всѣ толстыя тетради его, вдоль и поперек исписанныя. Все это оставил Олег в Парижѣ. Уже мѣсяц цѣлый он не читал, не писал, не молился. Дикая свобода от Бога и страх Бога сопровождали его повсюду. Так, казалось, он свѣжѣе. . . . встрѣтит незнакомую ему жизнь лицом к лицу с міром, без защиты и без утѣшенія, а жизнь, как нестерпимое солнце, не скупясь, била ему в лицо.

Ю. Фельзен.

ВЕЧЕРИНКА.

Леля во мнѣ перестала нуждаться, и вся ея дружественность исчезла, как раньше — с концом любовнаго раздвоенія и совѣстливой борьбы за меня — исчезла ея раздражительность: я оказался попросту лишним и — трезво это понимая — к ней, по слабости, не мог не приходиться, а Леля, упоенно-радостно-щедрая, мнѣ дарила, словно подаяніе, свое столь живительное присутствіе. Для нея теперь я значил не больше, чѣм Рита, Шура или Петрик, и все же понемногу смирился, довольствуясь хотя бы ея присутствіем и только желая его сохранить: эта привычная, милая обстановка, постоянные собесѣдники, даже Павлик, вечерніе наши разговоры, чарующее Лелино сіяніе, для меня сейчас единственно родное в безопадном, чужом и страшном городѣ — убогая замѣна семьи, цѣпляніе за тѣнь, за печальные остатки чего-то, прежде похожаго на счастье и личную жизнь: так вѣроятно старѣющій обманутый муж, ни на что уже не надѣясь, предпочитает свой горькій полуразрушенный уют неизвѣстности и холоду одиночества или опасно заболѣвшій матрос готов умереть на корабль, среди давнишних и близких товарищей, и тоскует, отправляясь в больницу. Мое терпѣливое сми-

реніе незамѣтно выработало особую позу ко всему равнодушной, бездѣйственной покорности, и нерѣдко мнѣ представляется, будто я и достиг равнодушія, будто поза важнѣе существа (и лишь надо ее отыскать), но конечно это неискренне, это — новая «спасительная ложь», и притом едва ли послѣдняя.

Неподвижность, покатое кресло, дешевая папироса во рту, молчаливое прислушиваніе к окружающим, порою вялая, но дѣльные замѣчанія, доказательство лѣниваго превосходства, без капли наглости, тщеславія и рисовки — такая поза возникла у меня в часы жестокой Лелиной беззащитности, одного из тѣх незабываемых случаев, которые необходимо описать, чтобы себѣ уяснить свои же выводы. Подобные мертвящіе дни и часы, при всей их внѣшней незначительности на первый, поверхностный взгляд, врѣзаются в душевную память, нас обновляют, иногда и в зрѣлом возрастѣ (когда мѣняться нам как будто не суждено), и могут нас позже предохранить от пресыщенности и старческаго одеревенѣнія. Этот случай запомнился острѣе других, я по инерціи думаю о нем, обращая, «апеллируя» к Лелѣ, и не сумѣл бы его передать в своей теперешней «безплотной» манерѣ благоразумнаго, сухого повѣствованія. Итак я должен к Лелѣ обратиться:

— Мы с вами не раз уже говорили об этом шумном и путанном вечерѣ. Вы сидѣли, кроткая и грустная, не зная, придут ли ваши друзья, и запоздалое их появленіе, послѣ тяжелой вашей тревоги, было для них (вѣрнѣе, для Павлика) конечно особенно выигрышным: моя навязчивая аккуратность, то, как вы ею избалованы, меня унижает в ваших глазах, а вѣчное ожиданіе обоих друзей вас поневолѣ к ним притягивает. С ними

— отчасти по вашей винѣ, от нескрываемой вашей обиды — стало томительно-неловко, и вы горячо за меня ухватились, утверждая («сквозь внутреннія слезы»), что я один хочу и пытаюсь к вам безкорыстно подойти, вас как-то возвысить и понять, что быть-может один чего-то я стою и со мной вам не надо опускаться до уровня скучных разговоров и занятых сплетнями людей. Все это вы мнѣ сказали глухим, чуть озлобленным голосом, а Павлик и Петрик, уединившись, о чем-то шептались у рояля. Я колебался между подозрѣніем, что вы, оскорбленная, ищите опоры, и между ребяческой увѣренностью в любовной своей побѣдѣ, я на минуту даже похолодѣл от этой нелѣпо-счастливой увѣренности и тѣм болѣзненным перенес неизбежный «удар по головѣ». Павлик без приглашенія усѣлся за рояль и спѣл нам всѣ свои пѣсенки, с такой откровенной и нѣжной теплотой, с такой общающей и признательной страстностью, что я мгновенно ощутил, как вам трудно перед ним устоять и как неминуемо порвется наша короткая, искусственная связь. Я слушал знакомыя мелодіи, предвидя что-то непоправимое, и не ошибся в печальном своем предвидѣніи: вы к Павлику медленно подошли, как будто зачарованная музыкой, и дважды его поцѣловали, в напомаженные волосы и в лоб, издав — опираясь на клавиши — протяжный хроматическій звук. Петрик внезапно оживился — «нам обязательно слѣдует выпить» — и отправился в кафѣ за вином. Я не пошел его провожать, хотя и чувствовал ваше стремленіе остаться с Павликом вдвоем, да и вообще не мог преодолѣть завистливо-ревниваго страха и на цѣлый вечер бессильно окаменѣл. Потом, до возвращенія Петрика (он был моим естественным

убѣжищем), я жалѣл, что его отпустил, но волновался пока еще напрасно: Павлик скромно полуулегся на диванѣ, а вы, как бы его карауля, сидѣли рядом, прямая и чинная. Однако я обостренно себя сознавал возмутительно-горестно-лишним и — чтобы дѣйствовать, чтобы все же соблюсти какое-то смѣшное достоинство — взял со стола чужую папиросу, ее задумчиво разгладил и зажег (на самом дѣлѣ я не курильщик — послѣдствіе примѣрных дѣтских лѣт), и затѣм безостановочно курил, ни на минуту даже не слабѣя и несомнѣнно «держась одними нервами». Петрик наконецъ появился, вѣлочка крозину шампанскаго, сухого, прославленной марки (он бываетъ доброжелательно-заботливо-широк и должно-быть немало переплатил в такое позднее время). Приняв на себя домашнія хлопоты, положив бутылки в холодную воду и сбѣгав за ними на кухню, он часть их торжествующе откупорил, и началось веселое громкое пьянство, с остротами, чоканьем, взаимным расхваливаньем и со всею умиленной русской дикостью. Я пил осторожно, мелкими глотками или едва касаясь языком шипящей, жесткой, рѣжущей влаги — у меня плохой опытъ пьянаго отчаянья, всегда болѣе мрачнаго, чѣм трезвое, и невозможности при этомъ забыться, если видишь непосредственно тѣх, кто является причиной отчаянья — зато вы, поблѣднѣвшая, смѣлая, непрерывно наполняли свой стакан, переходя с мѣста на мѣсто и дружески чокаясь со всеми подряд. Петрик замѣтил, что я упорно хитрю и — шутиливо призвавъ вас на помощь — постарался меня подпоить. Тогда, немного охмелѣвъ, я тверже посмотрѣлъ вам в глаза и с испугом в них уловил искорку подлиннаго тихаго безумія, смягченнаго мертвой инерціей воли, и

мнѣ стала ясной, леденяще-понятной ваша безпамятная порою небузданность, неизбежная горечь моих наблюдений, однако на ваш пронизательный вопрос — и вызывающий, и скрыто-тревожный («вы находите меня безобразной — не стѣсняйтесь, мнѣ все все равно») — я малодушно, скороговоркой, отвѣтил («пустяки, все восхитительно, все чудно») и по собачьи (или же по рыцарски) благоговѣйно и преданно поцѣловал вашу безвольно-ласковую руку. Павлик бѣшено-властным движением вас мгновенно от меня оттащил (из-за вина мы всѣ одинаково и одичали и грубо распоясались) и что-то шепнул обо мнѣ — вы неподдѣльно-искренно разсмѣялись и, схватив недопитый мой стакан, очевидно первый попавшійся, звонко чокнулись с одним только Павликом, выразительно ему подтверждая свою неоспоримую вѣрность, с тѣм особым неразсуждающим пылом, с каким меня никогда не утѣшали. Он вас опять увлек на диван, и я в полутьмѣ различал невыносимо-откровенное объятіе, ваши попытки прижаться еще тѣснѣй, протрезвѣвшую сдержанность Павлика и — блѣдно-бѣлую на мутной его рукѣ — ту же горячую, ласковую руку. Теперь мнѣ стало так тяжело, что я бессознательно ко лбу приложил — словно пропитанный водою платок — чей-то (не ваш ли) узкій стакан, превращенный моим воображением в холодное дуло револьвера, и эта новая роль, самоубійцы, ненадолго меня заняла, уведя от безвыходной дѣйствительности, как будто уже наступило посмертное ко всему безразличіе. Потом безконечными казались неподвижно-постылые часы — терпѣливо ожидая возможности остаться с Павликом вдвоем, тѣсно обнявшись, ноги в ногах, вы молча лежали с ним на диванѣ, то затягиваясь его

папиросою (подчеркнуто-безстыдно и жадно — я подумал «армейская львица»), то предлагая ему покурить, Петрик хозяйничал, подливал мнѣ вина, приносил бутылку за бутылкой, иногда садился на диван (и вы на него задорно смотрѣли), а я, как бы в сонном оцѣпенѣніи, не подымался, не трогался с мѣста, от слабости, от мстительной досады, вас упрямо не оставляя вдвоем. У меня впоследствии возникло предположеніе, что тогда, с папиросою во рту, «небрежно развальясь в комфортабельном креслѣ», я был ироничен и спокоен — между тѣм все время я мучился, и живая непрерывная боль не проходила, не слабѣла, не притуплялась, и конец этой длительной боли, этой каменной общей нашей скованности, мнѣ представлялся почти невѣроятным, в каком-то безвѣстном, мифическом будущем. Но такова уже сила наших вымыслов, нашей вѣчной потребности отдохнуть, что в дальнѣйшем подобное состояніе, всякая неподвижность около вас незамѣтно для меня становилась явным признаком достигнутого равнодушія: вѣдь если чувства замѣняются позой, то нерѣдко бывает и обратное — что привычная поза или жест переносятся в душевную область и создают нашу внутреннюю реальность. Однако в ту безнадежную ночь предположеніе о внутреннем спокойствіи было ребяческим пустым самообманом, в лучшем случаѣ смутным предвидѣніем: я, как раньше в такія минуты, негодующе сравнивал ваше поведеніе со своим, при вас безукоризненным — без единой оскорбительной вольности — рѣшая впредь вас не стѣсняться и не щадить, и этот поздній, напрасный мой бунт доходил до изступленной к вам ненависти. И все же кончилось ночное испытаніе — Петрик нам предложил послушать цыган,

и легкое ваше согласіе пріятно меня удивило: мнѣ хотѣлось как-то встряхнуться, а главное отпадали мои опасенія, что вы будете с Павликом одни в этой удобной, общинической квартирѣ. В сущности жалкій, незойливый страх (не впервые пробужденный сознанием вашей обычной дерзкой безцеремонности), страх того, как все у нас сложится, перевѣшивал боль за происходящее, безмѣрно ее углубляя. Теперь, чуть свободнѣе вздохнув, я придумал нехитрый свой план — непременно уйти вмѣстѣ с вами (ради увѣренности, что и вы также ушли), а затѣм попроситься на улицѣ (чтобы устранить ревнивыя догадки о невѣдомом исходѣ кутежа), прикрываясь для приличія усталостью (вы поймете — безденежье, неловкость, щепетильность — и сочувственно, разумно одобрите). Ваша «гостиная» снова преобразилась — вы зажгли ярко-желтый, ослѣпляющій свѣтъ и аккуратно, дѣловито, неспѣша, расправили помятое платьѣ, на столѣ, на полу валялись бутылки, точно рыбы, недавно блиставшія в волнах и вытащенные мертвыми на берег, и весь наш праздник — тревожный и шумный — буднично притих и как-то полинялъ. Я поражаюсь невозмутимой сосредоточенности, с какой вы охорашивались перед зеркалом, вашей ровной, благопристойной серьезности послѣ такой необузданной ночи, и внезапно усвоил для себя ея безповоротное значеніе, наглядную ея разрушительность, хотя боль и обида улеглись — я понял, что многое в нас (напримѣр мое негодованіе или ваше с Павликом безстыдство) исчезает и все же сохраняется, но вам сказать об этом не успѣлъ и только злорадно не подал пальто, в отместку за вашу забывчивость, за долгое мое униженіе, о чем, разумѣется, вы не догадались.

Я лежал у себя в отелѣ, не пытаясь даже уснуть, и часы изнуряющей бессонницы прерывались короткими сновидѣніями, в которых я неожиданно выступал безпощадно-сладострастным побѣдителем, как будто бы мнѣ передалась неистово-пьяная ваша возбужденность, чтобы здѣсь, в одинокой моей духотѣ, безцѣльно и грозно разрядиться. Я оставался равнодушным ко всему, происходящему с вами без меня — быть-может происходившее недавно при мнѣ вытѣсняло другія впечатлѣнія, или просто уменьшилась задѣтость, и появилась какая-то неуязвимость, еще недостаточно полная: ее укрѣпляет ваше отсутствіе (вѣдь прежде не бывало и этого), но с вашей упоительной близостью пожалуй ей не совладать. С утра я бѣгал по дѣлам и к вам пришел не ранѣе обычнаго — столько раз послѣ бессонных ночей мнѣ хотѣлось поскорѣе объясниться и это ни к чему не привело — и все же, наконец, очутившись в аккуратно прибранной вашей гостиной, я заговорил о вчерашнем кутежѣ, вас укоряя словами, жестами, взглядом:

— Простите меня за откровенность, я очень вами недоволен.

— Я так и знала, что будет разговор.

Тогда я разлегся в удобном вашем креслѣ, принявъ изобрѣтенную наканунѣ вызывающую позу усталаго безразличія и стараясь думать о том, как пріятно сидѣть рядом с вами, курить и ничего не желать. Вы сперва не замѣтили перемѣны и, предвидя мои обвиненія, стали мягко-вразумительно доказывать, что нельзя, нехорошо придирааться к невмѣняемо-пьяному человеку и достойнѣе «на все закрыть глаза», что вы еле помните «нашу вечеринку», что вернулись домой,

утомленная, одна (послѣднее было подчеркнуто), а затѣм перешли в нападеніе, не дождавшись моих отвѣтов:

— Я вами тоже недовольна за вчерашнее — вы на меня смотрѣли в упор, слѣдя за каждым моим движеніем, как сыщик или ревнующій муж. На вашем мѣстѣ и я бы огорчилась, но попыталась бы справиться с собой и даже несомнѣнно бы ушла. А так я, чуть ли не впервые, поступала вам грубо на зло, оттого что вы меня лишаете свободы.

Я скучно и вяло защищался, мнѣ расхотѣлось вас упрекать — повидимому, «новыя отношенія» возможны и в вашем присутствіи, и мои же случайныя слова, удивившія меня самого, надолго во мнѣ утвердились какой-то единственной правдой:

— Вы ошибаетесь, я вас не ревновал, и не слѣдил — вы дѣйствовали открыто. Мнѣ просто было за вас невыразимо досадно и больно, и растерявшись я окаменѣл. Неужели, с вашей пронизательностью, вам не ясно, что я предпочитаю не соблазнительно-женскій ваш облик, а трогательно-нѣжно-поэтическій, блѣднѣющій в такія минуты. А то, другое — вы знаете, что — мнѣ казалось и раньше второстепенным, хотя я вас любил по настоящему, теперь это совсѣм устранено, конечно по вашему желанію, и потому особенно грустно, когда начинает тускнѣть и ваша поэтическая прелесть, составляющая пожалуй основу моей, отраженной от вас, но неподдѣльной внутренней поэзіи.

Такой, уже явный, самообман, должно-быть готовился давно (при каждом вашем временном уходѣ и значит за нѣсколько лѣтъ до этой окончательной «измѣны»): во мнѣ больше силы и гордости и больше мужского самолюбія, чѣм естественно вы предполагаете, и

мой полуслучайный самообман легко превратится в самовнушение, от котораго, при всей его надуманности, я даже сам с собой не отступлю. Зато вас я этим напугал — вам нужнѣе «эротическій» успѣх, и лишь ему неколебимо вы вѣрите, упорно стремясь сохранить, как бы вы ни были ко мнѣ холодны, мое безудержное прежнее влеченіе: тогда вы безопасно спокойны, что и вообще меня сохраните. Мнѣ становится все непонятнѣе ваш страх меня потерять: это не женская завоевательная жадность, вы очевидно со мною как-то связаны, и вас, перед собой и другими, возвышает моя нелѣпая любовь, вам представляющаяся рѣдкой и цѣнной. Упавшим голосом, не пробуя бороться, вы мнѣ искренно-печально сказали (у вас в рѣшающих разговорах есть одно благородное свойство — не защищаться, не противиться злу, не выискивать мелочных доводов, не исправлять того, что случилось, быть мужественно и мудро пассивной):

— Мой друг, пусть будет по вашему, но мнѣ обидно за прошлое — я себѣ его рисовала иным.

Оно и было, разумѣется, иным, однако я вашей мудрости лишен и стараюсь прошлое измѣнить — и в собственной бунтующей памяти, и в потрясенном вашем сознаниі: я хочу его передѣлать, приблизить к послѣдним нашим отношеніям, уничтожить невозвратимое его совершенство, уменьшить огромное различіе между ним и жалким настоящим. Я также безповоротно хочу отказать от столь удобнаго обращенія на «вы», писать о Лелѣ, как о Петрикѣ и Ритѣ и о любом нейтральном знакомом, хотя именно это неимоверно мнѣ тяжело и хотя для этого надо умертвить что-то живое и кровно-привычное. Пожалуй я не уловил поступательно-плав-

наго движенія происшедшей у нас переменны и придаю непомѣрное значеніе той безобразно-оскорбительной ночи — увы, мнѣ достаточно вспомнить о ней, чтобы отпало всякое желаніе когда-либо Лелю вернуть, и у меня постепенно усиливается какая-то страшная раздвоенность: отвратительный вечер и ночь отодвигаются, уходят навсегда, а остро-свѣжее их воспріятіе остается, являясь вѣчным уроком, ударом, в себѣ сосредоточившим безчисленные прежніе удары, и таким постоянным препятствіем на пути к малѣйшей надеждѣ, которое нельзя преодолѣть. С тѣх пор возникла у меня и другая смутная раздвоенность: я Лелю по старому люблю, однако любовь перемѣстилась во-внутрь и опасается внѣшняго воплощенія. Если выразить то, как я к Лелѣ отношусь, получится краткая формула, слишком эффектная — «ни прощенія, ни мести» — и она едва ли точно передает предполагаемую Лелину расплату (впрочем ей неизвѣстную и нестрашную) за безнаказанное со мной несчитаніе. И когда, в концѣ разговора, я ослабѣвъ, ее попросил быть при мнѣ деликатной и сдержанной, я себя пытался избавить не только от будущих обид, но и от ревности, которую вызовут такіа будущія обиды и с которой снова не справится положенное мое равновѣсіе.

Сергѣй Шаршун.

«ВОЖИРАР».

«Алексѣй Петрович!.. посмотрите, что-бы это могло значить?!.. требованіе явиться на «Вожирар», ... к плохому или хорошему?!.. протянул Федор Васильевич, нѣчто вродѣ открытки.

«Я слышал, что это обязательно для всѣх иностранцев числящихся рабочими.

Требуют справки о мѣстах жительства за все пребываніе во Франціи и удостовѣренія работодателей; кажется это не слишком опасно, не хлопотно.

Нас, либеральныя профессіи, не тронули, отвѣтил Берлогин.

Чтобы имѣть возможность поѣхать в отдѣл министерства Труда, Сырдин попросил замѣнить его в конторѣ.

Берлогин, конечно, сознавал, что отказать Сырдину в подобный момент невозможно.

В конторѣ он чувствовал себя подавленным тѣм, что подвергает себя опасности высылки.

«Что дѣлать, сбѣжать с квартиры?!.. но, стоит-ли начинать, когда дѣло о поѣздкѣ в Перу — «на разсмотрѣніи»?!, раздумывал Берлогин, сидя у телефона третій раз на недѣлѣ.

Только послѣ этого дежурства он справился о ходѣ дѣла.

Еле сдерживая рыданія, Сырдин рассказал, что чиновник потребовал не только прописки всѣх мѣст жительства, но удостовѣренія работодателей не в одном экземплярѣ, как он заготовил, а в двух, и на его сдержанный возглас, заявил, что бельгійская граница не за горами.

«Не быть мнѣ на бельгійской границѣ!.. Как мнѣ, бывшему члену отвѣтственных миссій союзной державы, во время войны... у котораго брат и племянник убиты на французском фронтѣ!?»», взволнованно воскликнул он.

Тогда из сосѣдней комнаты вышел чиновник постарше и успокоил его.

«Как это ужасно!

Пусть у них есть основанія избавляться от нас, но держись-то ты по-человѣчески!

Хорошо, что вы политическій дѣятель и не растерялись!

Я-бы, от такого заявленія, упал в обморок, а кто иной бросился-бы на колѣни и стал молить — не погубите!»», подавленно отозвался Берлогин.

Оставшись один, он увидѣл себя получившим извѣщеніе явиться как Сырдин, в Министерство Труда, для дачи показаній.

«Очевидно я стал неугоден Марьяннѣ?!», воскликнул он, переступив порог, пріемной.

На что послѣдовал безпромедлительный отвѣтъ: «certainment!».

«Прекрасно! Спасибо за многолѣтнее гостепрѣмство,

но считаю нужным сдѣлать одно заявленіе!», и Берлогин показал вырѣзки из газет, гдѣ его называли одним из лучших русских художников, со времени войны!

«Повѣрьте, что теперь у Россіи, таких людей не очень много, а если я окажусь на границѣ, то поѣду и дальше, чтобы умереть на большевистской каторгѣ, или быть разстрѣлянным!».

«Я перед этим безсилен!».

«Какой срок дает мнѣ Франція, для приведенія дѣла в порядок?».

«Двух дней вам будет достаточно?».

«Завтра вечером я поѣду к бельгійской границѣ».

Чиновник отобрал у него карт д'идантите.

Давно готовясь к смерти и живя с манихейской формулой *Jesus patibilis* в помыслах, Берлогин все же подумал, что смерть может наступить и не с достиженіем Россіи.

Растерянности он не чувствовал, было лишь леденящее напряженіе.

Из ближайшей кофейни он позвонил Андрею и не получая отвѣта, убѣдился, что его, в то глухое время лѣтняго сезона, в Парижѣ нѣтъ, — потом выяснил, что Эрдберг в городѣ, попросив передать, что придет по безотлагательному дѣлу.

Затѣм Берлогин поѣхал в один из ближайших пригородов, к Краппу, художнику-иностранцу с именем, недавно согласившемуся, при надобности взять его картины на храненіе.

Чтобы не заставляя ждать себя Эрдберга, он переѣхал 2 автобуса и пригородный поѣзд.

Особняк Краппа стоял на горѣ и ему пришлось взбираться туда запыхавшись.

Дома оказалась только жена, которой он был представлен нѣсколько лѣтъ назад.

Сквозь прерывистое дыханіе, Берлогин безтолково отрекомендовался, г-жа Крапп, весело отозвалась, что припоминает его, и что он явился кстати, т. к. им удалось продать, за 250 фр. одну из его картин, что они собирались ему написать.

Выслушав же о случившемся, предложила начать хлопоты о отмѣнѣ высылки, но примирившись с его рѣшеніем, согласилась, что он сам ее устроил.

Получив завѣренія, что его просьба будет исполнена, а также и деньги, Берлогин поѣхал к Эрдбергу.

Но тот на завтрак не приходил.

Тогда он оставил ему записку, сообщив о происшедшем, и убѣждая принять все как свершившійся факт, скорѣе начав огласку, чтобы большевики встрѣтили его на русской границѣ, — и прося пріятеля ждать его вечером.

Оголтѣло вернувшись домой, он принялся за завтрак и сборы одновременно, твердя привычное *Jesus patibilis*.

Он рѣшил взять с собой 850 фр., чтобы хватило на билет от франко-бельгійской границы до Негорѣлаго, а остальные 200 — вручить Эрдбергу, для передачи Андрею, другу юности, содержащему в Россіи нѣсколько родственников, к которому власти будут менѣ придиичивы.

Свои рукописи он рѣшил оставить тому-же Эрдбергу, в полное распоряженіе.

В этот момент, ему опять почудилось, что его не

только не разстрѣляют, а . . . допустим, используют парижскую патину, почти совершенное французское произношеніе, а также нѣкоторое знаніе испанскаго и нѣмецкаго языков. . . Хотя-бы просто показывая в салонах, как образчик русскаго человѣка, писателя и художника.

Вообразив это, Берлогин принялся распредѣлять рукописи на нѣсколько категорій, имѣя в виду их переправку, по мѣрѣ возможности, в Россію.

Вороха незаконченных, или только начатых книг, меж которых была единственная папка с разрозненными отрывками «готовыми к печати» — привели его в отчаяніе.

Но, уже нужно было снова ѣхать к Эрдбергу.

За дорогу, Берлогин успѣл привести себя в нѣкоторое равновѣсіе и был в состояніи прощаться с Парижем.

Пріятель, взволнованный происшествіем, стараясь придать твердость своему мягкому голосу, начал с совѣта измѣнить рѣшеніе и взяться за выправленіе дѣла, однако уступая спокойствію Берлогина, счел себя вынужденным, перемѣнить разговор.

Обѣщав все, по возможности, исполнять, он, для точности — записал «его послѣднюю волю».

Растерянно пожимая руку, Эрдберг сообщил, что завтра выйдет только рано утром, по неотложному дѣлу.

Возвращаясь домой, Берлогин вдруг вспомнил о Монпарнасѣ.

«Поклониться самому дорогому прошлому!», вдруг всхлипнул он.

Сообразив, что из друзей пожалуй никто не будет, тотчас добавил, что это и лучше, а завсегдатаи, с которыми он лишь раскланивается, или обмѣнивается

пустыми фразами, в смыслъ донесенія новости до нужных ушей — будут полезны.

Монпарнас!

Сформировал Берлогина не ты!, но родившись за тысячи верст, он не мог не быть твоим! — здѣсь, как и всюду, он «страдал, а не любил», — ты-же «вывел его и в писатели!», но не остановившись на «достиженіях», он «увидел и дальше», и с благодарностью отдает тебѣ должное!

Берлогин посѣтил мѣста дѣйствія своих увлеченій двумя женщинами.

Довоенная кофейня, почти единственная на Монпарнасѣ, темная и маленькая, и в ней женщина с русских окраин, похожая на Пушкина в дѣтствѣ, имени которой он не узнал — самая пламенная его любовь, — и та-же кофейня послѣ войны, и входившій в моду «Дом», и открывшійся «Купол», и Наденька — самая возвышенная и «удовлетворенная взаимностью» его любовь.

Не помянул лихом и девятилѣтняго «попутничества — сожительства».

В смыслъ-же нужных ушей, все произошло как ему хотѣлось.

Была группа игравших в шахматы и игравших в карты, были и просто шушукавшіеся.

Подходившему Берлогину обрадовались.

На вопросы: «как дѣла?, что вас никогда не видно?», услышав рассказ о нынѣшнем происшествіи, отшатнулись-было, не зная как держаться, но самые отзывчивые быстро «вернулись», растроганные по чело-вѣчеству.

«Ничего с вами не будет!.. если благополучно до-

ѣдете до совѣтской границы!.. М.-б. немного, первое время!.. Мы еще в Москвѣ встрѣчаться будем!.. Я на-днях уѣзжаю с семьей!.. Понемногу всѣ туда переберемся!», заговорили всѣ сразу.

«Кому нужно, давно знают, что я настроен религиозно!

Я ничего не скрываю, потому-что готов ко всему!».

«Теперь таких много!.. К этому относятся снисходительно!

... Но вѣдь вы не собираетесь кричать об этом на всѣх перекрестках?».

«Разумѣется нѣтъ!, но от прямо поставленнаго вопроса, никогда уклоняться не буду!».

«Храбрый вы все-таки человек, Берлогин!»... «не храбрый, а стараюсь никогда не забывать о смерти».

Сообщили что знали, относительно высылаемых этапным порядком.

Дома Берлогин постарался закончить распределение рукописей, по какойнибудь попавшей на глаза фразѣ, возстановливая суть дѣла, или наоборот, ничего не умѣя связать с заглавіем.

Написал прощальное письмо Жердину, котораго тоже не было в Парижѣ, сообщая, что оставит у его консьержки костюмы и бѣлье, прося положить в его сундук.

Затѣм, выставив лишнее за дверь, принялся за сортировку книг, на «очень-бы хотѣлось сохранить», и «не слишком нужныя», рѣшив отвезти их Эрдбергу-же.

По временам, он замирал, чтобы безуспѣшно пытаться отвлечь вниманіе от всего.

Потом начал укладывать в спинной мѣшек бѣлье и вещи, по нѣсколько раз замѣняя.

Наконец он уснул.

Спал Берлогин тревожно.

То перед ним стоял, сокрушенно качая головой, Эрдберг, — то madame Крапп, мановеніем руки, заставила одну из картин мужа ссыпаться со стѣны, грудой золотых монет, а на ея мѣстѣ оказался вход в несгораемый шкаф, в котором она предлагала ему поселиться, увѣряя, что оттуда даже слышно кукушку, — то старшаго чиновника министерства, пытавшагося взобраться к нему на крышу на велосипедѣ и визжавшаго: «arretez, остановите!», — то сегодняшних монпарнасцев, претворившихся в персонажей Иеронимуса Босха, шуршавших вокруг, двигавшихся на него мышинным, змѣиным, драконовым полчищем, — то слышал громовой нѣмецкій голос, кричавшій: «russisches Schwein!».

— «Терпите, терпите, я бесѣдовала о вас с доктором!», донесся до Берлогина, чрезвычайно обрадовавшій его голос Елизаветы Андреевны.

Потом он увидѣл себя в поѣздѣ, — из-за суглинистых холмов показался родной город: бѣлые храмы монастыря, соборы, единовѣрческая церковь, а рядом с ней женская гимназія.

Над лугами и Кикелем, поѣзд прошел Общественным садом, Дворянской улицей и повернул к их дому.

«Наконец-то я с вами!», закричал Берлогин, ожидая встрѣтить давно умерших родителей, а к нему вышли толпой: Гоголь, Бодлер, Бетховен, Э. По, Данте, Жан-Поль, Гофман, Жерар де Нерваль, Достоевскій, Гюисманс, Томас де Киней, Петрарка, Бах, Леопарди, Новалис, Рильке, Клейст, Свифт, Глюк, Кафка, Гончаров, Винчи, Ц. Франк, Гёте, Толстой, св. Томас Мур,

Даніэль Дефо, Д. Джойс, Пруст, Тургенев, А. Бѣлый, Руссо, Дж. Эліот, Хэутгорн, Блок, Стивенсон, Рембранд.

Омыться утром, с ног до головы было немислимо, из-за разбросанных вещей.

«Вот начало конца!», подумал он.

Забыв сказать консьержкѣ наканунѣ, он сдѣлал это выходя за покупкой продуктов на дорогу.

Она возмутилась такому отношенію к бывшему участнику войны, будучи сама вдовой, но потом добавила: «только вы и могли поступить так!.. Конечно, получать вспомошествованіе не весело. . ., а они рады всякому сокращенію! . . Но, как знать, м.-б. все к лучшему, *monsieur Berloguine!*»

Он отвѣтил, что лишь чудо может спасти его от медленной смерти.

По его уходѣ, она смахнула слезу, сказав себѣ: «*il était bien gentil, pauvre monsieur Berloguine!*».

Время летѣло.

Еще нужно было проститься с Елизаветой Андреевной.

Спустив вещи по лѣстницѣ, он сказал консьержкѣ, что ѣдет отвезти их и вернется возможно скорѣе.

От жердинской консьержки Берлогин узнал, что Франція охотно доставляет иностранцев к границѣ, но другое государство не пускает высланнаго за порог вокзала, выталкивая его обратно.

Это извѣстіе повергло его в чрезвычайное замѣшательство.

Он рѣшил ѣхать, для полученія свѣдѣній, к вчерашнему чиновнику.

Но «Вожирар» уже оказался закрытым.

Сам не свой он поѣхал к Эрдбергу.

Тот отвѣтил, что спохватился еще вчера и тотчас телефонировал нѣскольким лицам.

Всѣ подтверждали опасеніе, однако, кое-кто говорил, что извѣстны случаи отправок высланных из Франціи русских, за их счет и дальше. Но, как их встрѣчают в Негорѣлом, узнать почти никогда не удастся. «Наличіе этих исключеній, меня совершенно окрыляет!», воскликнул Берлогин и дав кучу объясненій, . . . «Алексѣй Петрович! . . . неужели все это серьезно?!» . . . нѣсколько раз, горячо пожал Эрдбергу руку.

Елизаветы Андреевны не оказалось дома.

Прощайте глубокоуважаемая Елизавета Андреевна!

Меня сегодня неожиданно высылают на бельгійскую границу.

Надѣюсь доѣхать до Россіи, деньги есть.

Думайте обо мнѣ пожалуйста, поддерживайте меня на необходимой духовной высотѣ.

Глубоко благодарный за все и почитающій Вас

А. Берлогин.

P. S. Прошу передать дружескій привѣт и добрую память остальным.

Еще подымаясь по лѣстницѣ Берлогин услышал дикій мужской вой и без труда узнал голос.

В его комнатѣ, благодаря забытому в двери ключу, находились Гернасскій и Младов.

Гернасскій повис на его шеѣ.

Часа 1½ назад Младов встрѣтил в метро Котелка, узнав от него маловѣроятную новость.

«Неужели же это правда, Алексѣй Петрович! . . . въдь если выгоды вас, члена французскаго Союза Бывших Участников войны, то что-же будет с нами?!».. «да успокойтесь вы Игорь Викторович!», . . . «но, не могу-же я, не могу, когда вас высылают!!».

Растроганный участіем друга и взвинченный его поведеніем, кое-как справившись с собой, Берлогин передал обстоятельства дѣла.

«Все равно, если вас не будет, то я совсѣм один останусь, тогда мнѣ незначѣм жить в эмиграціи!».

«Ну, часто-ли мы с вами встрѣчались, Игорь Викторович?!

У вас столько друзей!

Вот рядом, неразлучный, Семен Лазаревич!».

«Встрѣчались мы нечасто. . . но, это не по моей винѣ, вы не знаете как я всегда рвался к вам.

Вот Младов скажет!

Ни с кѣм у меня не было столько общаго!».

«Да, мы оба сознавали нашу близость!».

Не уѣзжайте вы, Алексѣй Петрович! . . . Ну, не уѣзжайте-же!!

Переселяйтесь ко мнѣ или к нему, вас любой пріютит, сразу примемся хлопотать и все скоро уладится!».

«Нѣтъ дорогой друг!

Мнѣ уже под 50. . . как это ни неожиданно. . . довольно и пожито, и пережито, и выстрадано! . . . вот только сдѣлано мало! Если-бы еще нѣсколько лѣтъ работы! . . . Свои писанія сейчас отвез Эрдбергу, пожалуйста направляйте по этим дѣлам к нему.

. . . Вы видите, что я еще совсѣм не ощущаю себя трупом!».

Вскорѣ Берлогин попробовал навести друзей на мысль о прощаніи, но Гернасскій заявил, что никуда не пойдет отсюда.

Тогда он предложил им взять посуду, запасы провизіи и большую часть книг, которыми он рѣшил не обременять Эрдберга, а об остальном сообщить какому нибудь русскому благотворительному обществу.

«Да не уѣзжайте-же вы Алексѣй Петрович!, куда вы от нас поѣдете?!, Ну, что вы без Монпарнасса?!... Я просто лягу у порога и буду выть пока вы не согласитесь!», вдруг снова заголосил Гернасскій.

— «Да, Алексѣй Петрович, я тоже совершенно потрясен.

Дѣло в том, что я давно собирался сказать чѣм вам обязан!..

... Просто весь русскій Монпарнасс облачится в траур!.. Вы м.-б. и не предполагаете сколько у вас друзей!

... Как еще примут это наши дамы?!».

«Спасибо Семен Лазаревич!, я думаю, что вы талантливый писатель, а вѣрности и точности высказываемых вами мыслей, я каждый раз поражался!», отвѣтил Берлогин.

Принялись связывать послѣдніе пакеты.

Потом Берлогин пытался написать письмо Елизаветѣ Андреевнѣ, но под разговор ничего не выходило и он попросил, немного знавшаго ее Гернасскаго, зайти к ней.

Здѣсь-же, в хаосѣ, они пили чай и закусывали, т.-к. никто не завтракал, а время уже было обѣденное.

«Ах, милый, дорогой Алексѣй Петрович, ну мог-ли я

еще вчера, думать, что мы так скоро разстанемся?!..
Нѣтъ, я не могу, не могу!».

«Но дорогой мой друг, вспомните, что у каждого свой путь, своя судьба!

М.-б. здѣсь скоро станет еще хуже: лишеніе иностранцев пособія, политическій переворот, а затѣм и война.

О самоубійствѣ я никогда серьезно не думал и переносил жизнь твердя: «только-бы не хуже!», а послѣдніе года сознавая, что каждый новый день мнѣ дается возможность приняться за заботы о своей вѣчной сущности.

Однако, литературные потуги оказались слишком глубоко вѣдренными, — я не сомнѣваюсь, что кончил-бы их преодоленіем... но, одна эта борьба чего стоила!

Кромѣ того, если-бы вы знали сколько — я слышал о смерти!.. вѣрнѣе о безсмертіи!

Конечно, подобное состояніе то нарастает, то спадает, увѣряю вас, что иногда, я совершенно спокойно готов умереть!

Потому-что смерть для меня совсѣм не то, что для рационалиста!

Дорогой Игорь Викторович! Мы знакомы лѣтъ 14-15 и вы кое-что знаете обо мнѣ. Я никогда не был ни счастлив, ни удачлив... это нас и сближает! И еще задолго до вступленія в среду духолюбив, я уже неоднократно считал себя мертвым, пережившим біологическую смерть.

Увѣряю вас, что по натурѣ я не менѣе нервен чѣм всѣ, но вы знаете, что мнѣ иногда удается сдерживать себя.

В происшедшем я не раскаиваюсь. . . Вѣдь вы-же сами, Игорь Викторович, рассматривали линіи моей руки, заявили, что у меня развит Холм Марса, чего я совершенно не ожидал!, что мнѣ свойственны нѣкоторыя военныя доблести. . . происшествіе на «Вожарирѣ» — есть лишь отвѣтъ на провокацію.

Я принялъ вызов!».

В это время, из глубины коридора послышался голос: «monsieur Ber-lo-guine!».

«Par ici!» отозвался окликнутый, двигаясь навстрѣчу сыщику.

«Я за вами».

«Сейчас возьму вещи».

Гернасскій дрожал и стучал зубами. Младов крѣпко держал его под руку, предупреждая этим истерику или какую нибудь дикую выходку.

Они оба чувствовали себя как в момент выноса гроба из квартиры.

Спускаясь, Берлогин попросил друзей оглашать его высылку, а Гернаскаго — немедленно написать общему пріятелю в Россію.

«Прощайте madame Dethiollaz», пожал он консьержкѣ руку, «вы всегда были со мной очень любезны, merci beaucoup! Если будут письма, то возвращайте их с помѣткой parti pour la Russie. Вот ключ от комнаты, но вы его дайте пожалуйста, вот этим моим друзьям, они возьмут вещи».

«Прощайте monsieur Berloguine, вы хорошій человек и у вас, вѣроятно немного врагов! Будем надеяться, что все устроится к лучшему! . . Monsieur!», обратилась она к полицейскому инспектору, «вы имѣ-

ете дѣло не с преступником!.. А, какіе несчастные русскіе люди!».

Трое друзей расцѣловались на глазах у изумленных прохожих.

Гернасскій начинал всхлипывать.

«Обнимаю всю свободную русскую литературу!», вырвалось у Берлогина сквозь рыданія.

Его повели в комиссаріат.

Там уже находилось нѣсколько опустившихся, угрюмо молчавших людей.

В арестантском фургонѣ, их повезли на сѣверный вокзал.

В поѣздѣ, высылаемым иностранцам отвели уже полвагона.

Ругань и богохульство, на нѣскольких языках, не прекращались ни на минуту.

Это повергло Берлогина в содроганіе.

«Jesus patibilis! Страждущій, распинаемый нами Христос!», твердил он сокрушенно.

У одного высылаемаго еле успѣли отнять нож.

Кто-то затянул «В послѣдній путь моряк плыви», другой «Ты калинушка», которую Берлогин подсказывал солдатам, когда их, полуарестантами, перевозили по Франціи.

С истерическим восторгом, он подтянул ее и теперь.

Многіе дремали, Берлогин, от нервности позѣвывал и мелко вздрагивал, но, бывшего монпарнасца, ко сну еще не клонило.

Несмотря на непріязнь к «исполнителям закона», он вступил с сопровождающими в разговор, спросив, что происходит на границѣ и попросил совѣта.

«Посмотрим, что можно будет сдѣлать!», отвѣтили ему.

Скоро изгоняемых подняли и только остановился поѣзд, вывели на платформу.

Бельгійскіе жандармы окружили их и старшій, саркастически обратился к одному из прибывших: «а давненько тебя не видали! . . да и ты тоже, снова к нам пожаловал!», припомнил он и другого, «и когда мы с вами раздѣлаемся?! . .

Почему вы не ѣдете в Россію?!»

«Я хочу!», подхватил Берлогин.

«А, вот как, тѣм лучше!», отозвался жандарм.

Арестантов отвели в помѣщеніе, дали по ломтю хлѣба с патѣ и по чашкѣ кофе.

Берлогин отдал хлѣб сосѣду и вынув свою провизию, начал закусывать.

В это время за ним явился жандарм.

Его привели к офицеру, которому он показал свою французскую военную книжку, членкія карточки: французскаго Союза Бывших Участников Войны, Союза Русских Журналистов и Писателей, Общества Независимых Художников, Французской Федерациі Художников, Туринг-Клуба, вырѣзки из газет, и назвал музеи, гдѣ находятся его картины, а также и имена парижских и брюссельских картиноторговцев, с которыми имѣл дѣло.

Затѣм Берлогин изложил просьбу, чтобы вмѣсто обратной отправки во Францію, ему разрѣшили купить билет до русской границы.

Офицер отвѣтил, что не видит к этому препятствій и обратится за инструкціями.

Через нѣсколько дней, он, вмѣстѣ с небольшой группой, был доставлен к германской границѣ.

Окрикам и командам он повиновался с опозданіем.

У конвоиров накипала против него злоба, а Берлогин, послѣ нѣсколькочасоваго забытья, вдруг очнулся, раскаиваясь в том, что даже и здѣсь, в безвыходном для других положеніи, сумѣл оказаться исключеніем.

Их привели в караульное помѣщеніе.

Опять выстраиванья и команда.

Берлогин упал.

В безчувственном состояніи его положили на лавку.

Берлогин в это время начал бредить: «Jesus patibilis, in Christo morimur, вот и конец Елизавета Андреевна!».

Фельдфебель приказал его обыскать.

Комендант распорядился по телефону, сдать больного на попеченіе старшаго кондуктора поѣзда, отходящаго к польской границѣ.

Берлогинскіе документы были сожжены, вещи выброшены, а оставшіяся деньги, как пожертвованіе от неизвѣстнаго, внесены в казначейство.

Он просил пить, по временам даже и по-нѣмецки, потом бредил, повторяя: «Jesus patibilis, in Christo morimur», или напѣвая, «oh mon âme, sois forte et fière», и слабо крича: «ne participe pas!».

Полякам его передали как большевика, в бреду растерявшаго документы, кромѣ билета до русской границы.

Польскіе спеціалисты, выяснив болѣзнь пассажира, во внутреннем карманѣ пальто разобрали его фамилію и адрес парижскаго портного.

«Вот панове камарады, нѣмцы нам передали вашего гражданина. У него нѣтъ ничего кромѣ билета, но вот здѣсь проставлена его фамилія», перенесли его поляки в Негорѣлое.

— «Э, да он уже сыграл!», воскликнул пограничник нечаянно коснувшись холодѣвшаго Берлогина.

«Он?!», показали полякам его фотографію.

— «Ждали», добавил другой.

...«А!», стряхнул с себя Берлогин сон на-яву, принимаясь рассказывать по комнатѣ.

В. С. Яновскій.

РОЗОВЫЯ ДЪТИ

... triste hôpital tout rempli de murmures,
Et d'un grand crucifix décoré seulement,
Où la prière en pleurs s'exhale des ordures,
Et d'un rayon d'hiver traversé brusquement.

Ch. Baudelaire.

Наш госпиталь стоял на окраинѣ города. За парком одиноко лежала трамвайная линія, зеленѣли, а зимой сохли, могучіе, провинціальные липы и клены. Шоссе бѣжало, извивалось, тянулись узкія дороги, ныряли неубитыя тропинки. Послѣ дождя долго стояли помѣстительныя лужи, пахло, землей и небом и серебристо пѣли жаворонки.

Самый город, просторный и чистый, славился старинным собором, святыми и особым сортом шампанскаго. На площади красовался памятник павшим за Францію; на стѣнѣ Мэріи мраморная доска оповѣщала о попавшем сюда нѣмецком снарядѣ.

Аборигенты здѣшніе были по провинціальному привѣтливы и медлительны. В праздничные дни из кофеен доносилась музыка (играли Вагнера, Шопена, Чайковскаго). Слушатели чинно отпивали из чашек, живописно кланяясь вновь пришедшим и говоря до-

военныя любезности дамам. По улицам ползли мопасановскіе старички с большими букетами цвѣтов.

Отгороженный высокой, кирпичной стѣной, отрѣзанный от міра, наш госпиталь, — сравнительно небольшой, рассчитанный только на дѣтей, — как большинство филантропических учрежденій, управлялся исключительно женщинами (преимущественно, старыми дѣвками). На весь персонал приходилось всего двое мужчин: я и консьерж, (главный врач, старичек, — «песочные часы», — навѣщал нас раз в недѣлю).

Директриса, англичанка, — по мужу французенка, — вдова с неудачным прошлым: на лицѣ застыла горделивая улыбка, незаслуженнаго горя (такое выраженіе встрѣчается у матерей трагически погибшаго ребенка). Жизнь ея видимо научила цѣнить только одно: покой. Она боялась непріятностей, ужасалась хлопотам и хотя всегда старалась исправить обнаруженное злоупотребленіе, но так это дѣлала, что у лица «докладывавшаго», — навсегда пропадала охота к реформам.

Ея фаворитка, — кастелянша. Старая дѣва, моложе директрисы лѣтъ на десять, миловидная, блѣдная, с темными глазами и — горбатая. Онѣ были знакомы еще в Англии: вмѣстѣ пріѣхали. Оттого ли что долгіе годы общенія роднят или оттого-что кастелянша была свидѣтельницей другой, счастливой жизни директрисы (и напоминала ей об этом), только дружба, их связывавшая, казалась вѣрной, крѣпкой, сдержанно эгоистичной, как впрочем все, что исходило от директрисы. Издали, когда онѣ в салонѣ тихо бесѣдовали, казалось: повѣряют друг другу тайны, пеняют, сожалеют; а вѣдь они только обмѣнивались второстепен-

ными хозяйственными соображениями или обсуждали очередной сюрприз для общей любимицы, — Джеммы. Джемма, собака кастелянши, одна из героинь этой повѣсти. Дальше о ней придется рассказать подробно: мнѣ хочется сперва поговорить о людях.

Старшая сестра, — «Genegale», — тоже старая дѣва, но очевидно успѣвшая кое-чего сладкаго вкусить. Сѣдая, усатая, с огромной грудью, выпиравшей из высокаго корсета. Туго зашнурованный корсет скрипѣлъ как новая упряжь; сдавленная, она непрестанно вытирала пот с бритаго, сѣдого старческаго затылка; в обществѣ мужчины неотвязно оправляла свое чудовищно вырѣзанное декольте; подводя близко скрипящую грудь, шутила: «Я сегодня спала не одна. Мадмуазель Люно может засвидѣтельствовать, ха-ха. Я спала с Джеммой.» И проходила: тяжелая, ненасытная, на тоненьких, старческих ножках.

Мадмуазель Люно работала в заразных палатах. Это ей давало возможность жить как бы на отлетѣ. Поговаривали, что она не всегда вела себя как должно; что гдѣ-то у нея есть сын, и пр... У нас служила сравнительно недавно: года два, три... и постоянно грозилась уйти. Держалась обособленно, гордо, даже в уступках излучая какую-то злую, шалую непримиримость. Говорила всегда с презрительной усмѣшкой челоуѣка, видѣвшаго за свою жизнь только лицемѣріе и тщеславіе. Думалось: будь в ея волѣ, многое бы, — дурное и хорошее, — сокрушила, безжалостно бы стерла. Возраст: за сорок. Но в каждой клѣткѣ ея уже начинавшаго опускаться тѣла, все еще разлит, — пол. В манерѣ отвѣтить, пройтись по комнатѣ, переставить вещи, слышалось, — женское. Глаза темные, блестя-

щіе, горячо-спокойные, как у лошади; губы крупныя, яркія. Ее всѣ порицали, но замѣчаній не дѣлали, почему-то боялись. Выходные дни она проводила у voisines в городѣ; там же ночевала. Когда на утро M-lle Luneau возвращалась, ее встрѣчали пуританским холодком людей, платящих большія подати нравственности и не намѣренных поступиться вытекающими из этого преимуществами. Она же насмѣшливо, даже дерзостно улыбалась и отнюдь не чувствовала себя виноватою. Днем, когда большинство (не работающих) сестер спало, она обычно гуляла по двору с Джеммой на привязи. За оградой негромко и степенно лаял Боб, волкодав консьержа. С видом опытнаго повѣсы, избалованнаго дамским вниманіем, но все-же не привыкшаго пропускать ни одного благопріятнаго случая, он заигрывал с невзрачною Джеммой. Джемма же билась в истерикѣ, рвалась на ремнѣ, плакала лаем, захлебывалась от возможнаго счатья, так полно, так униженно стремясь к нему. M-lle Luneau облизывала губы и говорила безпокойно: — Надо спастись.

— Отчего? — спросил я в одну из наших совмѣстных прогулок.

— Вы не знаете? Сама Generale чуть не вылетѣла из-за Джеммы: шнур порвался, только чудом удалось разнять. Вѣдь Джемма у них дѣвственница.

— Чего им жалко? Завидно, должно-быть. — Злообъяснила. И добавила: — Merde! — таким тоном, точно рѣчь шла не о Джемминой, а об ея судьбѣ. Так ругаясь, она брала собаку на руки (не довѣряя ремню), и убѣгала в дом.

Джемма, хилая, низкорослая дворняжка, одѣтая в чехолчики, нагрудники, бархатные наколѣнники, в но-

вой сбруѣ с бубенцами. Кумир цѣлаго заведенія, пер-
венецъ старыхъ дѣв, любимецъ, диктаторъ, тиранъ. Ей раз-
рѣшалось ходить по всѣмъ комнатамъ: всюду имѣла
«свое» мѣсто; если оно было занято, Джемма нахально
приближалась и вызывающе, капризно скулила пока
мѣсто не освобождалось. Слабая и трусливая, она соб-
ственными силами не могла бы никакъ обезпечить сво-
его существованія. Но впереди, защищая всѣмъ естест-
вомъ, стояла тихая, всесильная кастелянша. Люди кру-
гомъ льстили и кланялись, хвалили и ласкали собаку.
Джемма чувствовала, что всѣ такъ же слабы и лицемѣр-
ны, какъ она. Постепенно развились обывательскія чер-
ты: самовлюбленность, мелочная завистливость, желч-
ная мстительность. Привилегированное положеніе
превратило ее въ паразита. Она, видимо, страдала ка-
кой-то болѣзнью кожи, теряла волосъ, — вся въ клокахъ
и въ плѣшинахъ, — и постоянно находилась въ дурномъ,
безпокойномъ, раздраженномъ состояніи. Оттого-ли, что
ее обкармливали сладостями, или по другой причинѣ, но
она отказывалась принимать обыкновенную пищу: би-
лись, упрасивали, угрожали. Кормили, какъ желудоч-
ную больную, — чуть ли не черезъ зондъ. На Рождество
устроили елку съ подарками. Мнѣ достался блок-нотъ и
карандашъ; Джеммѣ нѣсколько бомбоньерокъ съ шоко-
ладными конфетами, свитеръ, чепецъ и каучуковая наду-
вающаяся кошка (игрушка). Хозяйка съ нею спала,
ѣла, купалась; двѣ старыхъ дѣвы, онѣ знали слабости
друг друга и умѣли ладить. Я Джемму не любилъ. За
ее почти человѣческій эгоизмъ, за трусость, за хилость
и самолюбивую мнительность. Она об этомъ догадыва-
лась: никогда не оставалась со мною наединѣ. Но на
людяхъ вела себя крайне нахально: медленно подходи-

ла, разставив лапы задира́ла морду (у челове́ка этому бы соотвѣтствовало: засунуть руки в карманы жилета) и начинала скулить, отрыгать. Лаять она не умѣла, — голос срывался, — она только выла, хрюкала, капризно брюзжала.

— У, злой! — Говорили присутствующіе. — Она знает, что вы недобрый и потому лает. Перестань же, Джемма, перестань, умница.

Но она не знала мѣры. Еще один человекъ такъ же явно не терпѣл Джеммы, — Мадемуазель Коллет. Сестра милосердія с полу-вѣковымъ стажемъ, она уже выслужила одну пенсію и теперь подбиралась ко второй, а может и к третьей по счету. Впрочем, тут вѣроятно сказывалась не одна жадность. Одинокая, она привыкла к больницѣ, сроднилась с немощами, чувствовала себя тягостно со здоровыми: столько лѣтъ встрѣчала первый крикъ новорожденнаго, принимала послѣдній вздохъ кончающагося. Она старшая сестра в своей палатѣ: распоряжается, командует, ее слушаются, и уйти на покой, в бездѣйствіе, значило для нея уйти умирать. Всѣмъ намъ извѣстно, сколько у нея денегъ. В первый выходной день послѣ получки, торжественная, в черной шляпѣ, с чернымъ зонтикомъ, она отправлялась в город, в банк: вносить деньги. Возвращалась помолодѣвшая, с мелкими подарками для подчиненныхъ. Она купила участокъ земли на югѣ, но строиться не спѣшила, все откладывала, — с лѣта на лѣто. Многочисленныя фирмы забрасывали ее проектами, смѣтами, архитектурными эскизами, а она все не могла выбрать подходящаго: «Во время отпуска, — говорила. — Я приму рѣшеніе». Один подрядчикъ цѣлый годъ ее напрасно обхаживавшій, разсердившись, сказал:

«Мадемуазель Коллет, вы умрете не в собственном домѣ». Она себя называла: «très catholique». Она пошла на войну равнодушной («comme tout le monde»), но возвращавшіеся в окопы солдаты говорили: «теперь нам осталось надѣяться только на Бога». Их было много, утверждала она: толпы, тысячи, десятки тысяч и всѣ повторяли одно и то же. Тогда она поняла: без Церкви нельзя человѣку. Когда, звоня в колокольчик, проходил кюре со служкой, неся Св. Дары, мадемуазель Коллет, румяная, словно тринадцатилѣтняя дѣвочка, бѣжала цѣловать его руку, помогать. Как-то, весь город был взволнован жгучей драмой: вѣтренная жена оставила мужа и скрылась с любовником. — «Oh, si j'avais un mari!» — сухим, сдержанно страстным голосом набожной католички, еще долго спустя повторяла мадемуазель Коллет и поводила согнутыми в локтях руками, точно неся в них, прижимая к груди, убаюкивая нѣчто драгоценное: показывая таким образом, чѣм бы она стала для мужа. В ней сохранилась какая-то восторженная мягкость, та податливость, которая покоряет людей. Когда другая старуха-дѣва, — полусумасшедшая Танрѣ, — начинала бунтовать, только одна мадемуазель Коллет могла ее усмирить.

Танрѣ страдала базедовой болѣзнью: зоб, выпученные глаза, нервныя припадки. Злое, несчастное созданіе. В припадках ярости, — кусала собственные локти. Она обѣдала за отдѣльным столиком, спиной ко всѣм: от созерцанія нѣкоторых лиц, — по ея утверждению, — она лишалась аппетита. Своих подчиненных, — изводила. К ней-то, по неумолимой логикѣ, попала единственная русская ученица, девятнадцатилѣтняя, волей судьбы, — мадам Зубофф. Насмѣшка: сѣдой капитан ко-

зыряет безумому полковнику. Танрэ нашла выход. Она пригласила в палату директрису, кастеляншу и «Générale»; торжественно подвела их к порученному Зубовой младенцу и развернула пеленки: под ними, остріем к тѣлу, торчала огромная ржавая англійская булавка. «Вот как она обращается с нашими дѣтьми!» — трагически объяснила. Всѣ знали: булавка подброшена. Но выбирать между старой сослуживицей и молодой ученицей не приходилось: Зубовой предложили уйти. И тут, за все наше совмѣстное пребываніе, впервые, Зубова обратилась ко мнѣ по-русски. Плача и заикаясь, она сообщила, что ей осталось сдѣлать только двухмѣсячный стаж, а там она получит диплом; ей обѣщали мѣсто при мужѣ, он шоффер каретки скорой помощи, и во имя всѣх святых, чтобы я ее спас.

— Comme des sauvages! — рѣшила мадемуазель Коллэт, прислушивавшаяся к нашему разговору. Раздраженный всей предшествовавшей сценой, я попробовал объяснить Коллэт неумѣстность такого сравненія. Но она не поняла: — «Чтобы я покинула Францію? — (Отвѣтила не на мои слова, а на другое, болѣе существенное). — Jamais de la vie!» — Давая этим понять, что между нами есть качественная разница. Но какой то винтик в ней, очевидно был задѣт. Ворча, она все же отстояла Зубову: ее перевели в другую палату.

В комнатѣ мадемуазель Коллэт цѣлый день ревѣлъ радіо-аппарат. От семи утра до семи вечера, — время ея работы, — из пустого номера, через запертую дверь, доносились марши, танцы, биржевыя сводки и лекціи по пчеловодству: забывала-ли она выключать аппарат,

или происходило это вслѣдствіе какой-то своеобразной жадности, — Бог вѣсть. И грубая, автоматическая музыка, цѣлый день журчащая в пустой горницѣ без слушателей, вселяла своей подчеркнутой ненужностью почти мистическій страх. Вечера свои она проводила у аппарата: выключала громкоговоритель, надѣвала наушники и одинаково улыбаясь трубам и скрипкам, рекламам и анекдотам, слушала, неторопливо починяя велосипедную камеру (ей принадлежал старенькій велосипед, на котором она в праздники каталась). Прекрасный, многоламповый аппарат. Можно принимать Мельбурн и Москву, Будапешт и Осло. Но в 10 с половиной часов Радио-Пари передавало Марсельезу. Мадемуазелль Коллэт аккуратно снимала наушники: день кончен. Никогда, никогда она не выходила за предѣлы одной страны. И в этом жестоком мотовствѣ зрѣло нѣчто большее, чѣм простая тупость или ограниченность. Она страдала головными болями, от которых лѣчилась холодными примочками; и когда ночью, сквозь старческой сон ей вдруг мерещилось, что опять позабыли распорядится о чем-то важном, — она выбѣгала в палаты, дѣвственно ветхая, трогательная, в ночной рубашкѣ, придерживая рукой на лбу завернутый в платочек лед.

«Ночными», работали только-что кончившія школу сестры. Самая молодая, — Андрэ. Бѣлокурая, гибкая, с алыми скулами: вечерами у нея обычно повышалась температура. Дежурства продолжаютя 28 ночей подряд; затѣм 5 суток отдыха; и опять — сначала. Однажды, в період менструаціи, она упала и пролежала до ранней смѣны на паркетѣ, теряя кровь, не желая, то ли из гордости, то ли из мести, кликнуть на помощь.

Ночью госпиталь значителен. Он внѣ жизни и смерти, он, — между. Неподвижное и перемѣнчивое кружево тѣней, покой и бдѣнье, молитва и отчаяніе, вздох и кашель; перспектива коридоров и лѣстниц; шорох стекающей воды, и снова нагроможденіе тѣней и запахов (уборной и смерти). И вид сестры с прозрачным лицом, в ангельской бѣлизнѣ, в сумракѣ и тишинѣ, одиноко скользящей меж койками, волновал до слез. Я спросил однажды Андрэ: — О чем вы думаете, когда вот так, зимними ночами, сторожите дыханіе дѣтей... Она отвѣтила: «Я хожу и думаю, что вот гдѣ-то играет музыка и всѣ танцуют. Будет день, когда я попаду туда. Et on danse! Et on danse!» — с искаженным страстью лицом, артикулируя бедрами и лопатками она пробѣжала ликующим шагом по палатѣ и сам геній гульбы не мог бы явить собою большаго вихря движенія, большей жажды встряски.

Кромѣ этого постоянного персонала, при госпиталѣ проживал еще с десятков учениц, посланных из школ, — на практику. Молодые, шустрыя, некрасивыя, онѣ постоянно шептались между собой, ссорились, доносили. Всѣ жадно ждали приключеній, тайно шалили, получали записки. Иногда эти розовыя летучки попадали в руки начальства; тогда затѣвалась исторія с допросами, (вплоть до медицинскаго освидѣтельствованія) и обмороками.

Утро начиналось ранним звонком. Безспокойное, показное, больничное утро. Впереди, как райскій остров, как маяк, мерещился завтрак. К ѣдѣ являлись также сестры из хирургическаго отдѣленія и канцеляристки, — двѣ итальянки (костистыя, темно-грустныя дамы, оставленныя своими мужьями). Сестры входили

ли дѣловой походкой, плотоядно оглядывали приборы и выпячивая губы спрашивали:

— Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui?

Приподымали крышки с приготовленных на подвозных столиках мисок, заглядывали, нервно втягивали пар и отходили к своим мѣстам, разочарованные. Из всѣх пяти, или больше, чувств, отпущенных человѣку, онѣ могли еще пользоваться, в сущности, только тѣми, что связаны с ѣдой. У них были глаза, но глядѣть не на что; имѣлись уши, но что же слушать? Всѣ обладали ртом, языком, носом, мозгом и это, — пропадало зря: не о чем больше говорить, почти незачѣм думать. Оставалось одно: кушать. Но оттого, что обжигались, всѣ страдали катаррами желудка, жаловались на запоры, принимали разные пилюли и порошки; очередное блюдо осматривали со всѣх сторон, пробовали и отставляли в сторону, с завистью или с отвращеніем глядя на тѣх, кто уплетает им почему либо запрещенныя яства. Уходили неудовлетворенныя, заглушая голод сладостями и печеньями. В праздники подавали второе мясное блюдо, какойнибудь пестрый торт или сложный компот. Больше праздники почти (служба в церкви) ничего с собой не приносили; и все же их ожидали с нетерпѣніем и долго потом помнили. Много лѣтъ тому назад мадемуазель Коллэт («très catholique»), нашла в цвѣтной капустѣ червяка. С тѣх пор она капусты не ѣст. За столами строго наблюдает диетриса: все что положено на тарелку, должно съѣсть; корку хлѣба она учила прятать в салфетку, — на вечер. Мадемуазель Танрэ (базедова болѣзнь) заказала вставные зубы. В эти недѣли жизнь ея лишилась послѣдняго смысла. Питаться подобно младенцу жид-

кой кашей или супом? Она щупала взглядом каждую порцію мяса, требовала, чтобы ей давали нюхать кастрюли. Временно даже начала разговаривать с товарками: умоляюще освѣдомлялась, вкусно ли, не жестко ли мясо. Пыталась брать ломоть: откусывала, жевала упорно, до пота и, ожесточенно, воровски, боясь директрисы, выплевывала в салфетку. «Oh, gardez vos dents! — в припадкѣ нѣжной грусти упрашивала она учениц. — gardez vos dents!»

Наконец искусственные зубы, — готовы. Торжественной жрицей прошла Танрэ к столу. На ея исхудалом лицѣ вытупили красныя пятна: когда брала огромный бифштекс. Трусливо оглянулась голодными глазами и взяла еще ломоть. Отрѣзала кусок, поднесла ко рту. Мы безмолвно сидѣли кругом, как при мистеріи. Она жадно урчала, грызла давясь. Зоб, сросшійся с трахеей, перемѣщался при каждом глоткѣ, видимо ей мѣшая, — рукой, она ежеминутно его одергивала. На третьем кускѣ устала; оттого ли, что к протезам надо привыкнуть, или они были плохо пригнаны, но она разучилась ѣсть: неумѣло раскрывала рот, неловко жевала, пища барахталась на языкѣ, не промалываясь, каждый зажим причинял ей муку (воспаленныя десны болѣли). Она изступленно, согнувшись, водила челюстью. Горячій пот лился по лицу, она пыталась его утирать салфеткой, но бросала тотчас же: не хватало времени, все вниманіе привлекал рот. Его надо открыть и закрыть, открыть и закрыть, перемогая боль. Вдруг, она яростно рванула руками зубы, выдернула обѣ протезы и отшвырнув в сторону, — так перед дракой снимают пиджак, — ринулась снова на бифштекс. Но пораненныя десны очевидно нестерпимо заныли,

она вскрикнула, уронила голову на стол и в изнеможении заплакала.

Послѣ часового перерыва снова начинался труд. Тяжелый, 12-ти часовой и вѣроятно любимый, иначе непосильный, послуг. Франція ссылала к нам туберкулезных, рахитических, дегенеративных дѣтей. Из города свозили инфекціонных больных. Брюшной тиф и коклюш, корь и грипп косили сирот. В парижских садах гуляют холеные дѣти. Дѣвочки в корсетах, при зонтиках и сумочках; мальчики в галстуках и в перчатках. Откуда брались к нам эти истощенные, золотушные, кашляющіе, десятилѣтніе гномы? Всѣх надо умыть, — (сдѣлать постель), — накормить; лѣчить; снова кормить: с чайной ложечки, по глоткам, каждая десять минут, — в сыпи, в жару, в паршѣ. Давать кислород, вспрыскивать камфору, дѣлать обертыванія. Ночью одна сестра приходится на 50 коек, расположенных в нѣскольких палатах: от одной к другой длинный коридор. В каждой палатѣ тяжело больные: не поспѣтъ, — то туда, то сюда. Тѣлу нельзя разорваться; только душа, душа обезьянья, — тян-ни-ется.

Все, что было у них от женщин, от матерей, от сестер и любовниц, сторицей отдали онѣ, перелили, скупю, по чайной ложкѣ, год за годом. И все продолжают. (Откуда черпают?). Молодые привыкали; боролись. При мнѣ одна ученица ушла: не смогла обмыть труп ребенка. Старшій врач пріѣзжал раз в недѣлю. Он выкуривал сигару, чихал, соглашался со всѣми во всем и скрывался. Я ежедневно дѣлал обход и честно прописывал дешевыя лекарства. Но в сущности весь этот мир со своими лихими заботами, свинцовым грузом лежал на одних сестрах. «Дѣти умирают совсѣм по

иному!»! — часто повторяли они и глядѣли — точно знали какую то тайну. Два раза в недѣлю больных навѣщали родные или знакомые. Они находили своих дѣтей умытыми, причесанными, — (ясныя, спокойныя), — как никогда дома. Они благодарили «старшую», оставляли сестрѣ незначительный подарок.

В 7 часов обѣдали. Повторялось приблизительно тоже, что днем, только кончившія дежурство вели себя шумнѣе, возбужденнѣе, а ночная смѣна, озабоченная и подавленная, лихорадочно, нервно позѣвывала. Вечерами директриса, кастелянша и Джемма сидѣли в углу гостиной, мирно бесѣдуя. Кастелянша вышивала крестами и поэтому считала себя знатоком и цѣнителем всего русскаго. Сестры играли в белот, — без денег, рѣдко-рѣдко по нѣсколько су партія, — азартно, с негодованіем и попреками (за ошибки). Горничная, нарочито медленно проходя с чашками заглядывала в карты, щурясь и, междуметіями, давая совѣты. Изрѣдка ходили в синематограф. Тогда брали дорогія мѣста, одалживали друг у друга лучшія платья (часто покупали только: мелкія обновки). Смѣялись до слез, когда герой заставлял героиню в ваннѣ или случайно оказывался с нею в одной постели. В антрактах ѣли конфеты и мороженое. Возвращались усталыя. Долго в послѣдующіе дни разбирали перипетіи фильма, спорили из-за мелких подробностей. Обыкновенно кто-нибудь из старших вспоминал при этом довоенную пьесу и дѣлился ея содержаніем. И хотя в глубинѣ души все это никого не трогало, так-как не касалось предметов знакомых и любимых, но всѣ временно как то крѣпли: им казалось, что таким образом приобщаются к радостям жизни; и чѣм больше денег потрачено, тѣм боль-

шего они достойны уваженія. Так, — мѣсяцы и годы. Изрѣдка, по независящим от человѣка обстоятельствомъ, разражалось вдругъ стихійное бѣдствіе, проносились гроза или что-нибудь подобное. Мѣнялась стряпуха; пристроили флигель. Очень много толковъ и волненій вызвала война. (Не самая война, а нѣкоторыя ея проявленія: мобилизація, шествіе войскъ, упоминанія о «бошахъ»). Однажды ученица отравилась сулемой; ее спасли, но оказалось, что она беременна. Волненія слѣдовали на значительномъ другъ от друга разстояніи и только это давало возможность ихъ цѣликомъ переварить и снова зажить попрежнему. При мнѣ только однажды произошло событіе покрупнѣе: почти катастрофа, встряхнувшая всѣхъ насъ. Во время утренняго обхода, когда я со старшимъ врачомъ (это былъ его день), громоздкіе, неуклюжіе, сопровождаемые дежурной сестрой, ходили межъ рядами коекъ, отворачиваясь отъ доврчивыхъ или угрюмыхъ взглядовъ ребятъ, со двора донесся отчаянный женскій вопль. Кругомъ замегались, зашумѣли, всѣ устремились къ окнамъ. В садикѣ на травѣ, возлѣ самой дорожки, билась в судорогахъ кастелянша. Мы ринулись на помощь; отовсюду вѣеромъ сбѣгались женщины; из-за ограды выглядывали привлеченные криками случайные прохожіе. Кастелянша лежала уже неподвижная, стихшая, уткнувъ лицо въ землю, обхвативъ руками голову. Заслышавъ наши шаги, приподняла было голову, но узрѣвъ, тут же у самыхъ своихъ ногъ, сѣпившихся Джемму с волкодавомъ, она охнула и снова растянувшись спрятала голову. Волкодавъ хлопоталъ умѣло и энергично. У него былъ испуганный, растерянный взглядъ; ему, вѣроятно, мѣшали, — этотъ шумъ и многочисленные свидѣтели. Одно его ухо, упругое, сто-

яло, другое, вывернутое, казалось сдвинутым на-бекрень. Лицо недовольное и злое, все отворачивалось; он чутко прислушивался ко всякому звуку; спина ожидающе вздрагивала, видимо готовая принять град ударов. И весь вид его выражал печальную, стоическую готовность покориться року. Джемма не понимала всего. Она только боялась — как бы не помѣшали; и усиленно, лицемерно юлила, стараясь нам внушить: «это ничего, я сейчас, подождите немного». Но глаза ея, расширенные, потемнѣвшіе, отливающіе как жидкая смола, устремленные далеко вглубь себя, «самопожирющіе», необычайные для нея, свидѣтельствовали о ином мирѣ. Она нервно облизывалась алым язычком, то и дѣло начиная лицемерно и примиряюще кивать нам головой. Но вдруг в изнеможении, словно взрываемаемая благодарностью, она с предѣльной искренностью, любовно встряхивала мордой в нашу сторону, не в силах сдержать своего восторга и дѣлясь впечатлѣніями. «Это хорошо. Это очень хорошо!» — как бы говорила она. И снова фальшиво-привѣтливо кивала, умоляя: «подождите немного, я сейчас». А мы, неподвижно и молча, стояли кругом. Только один косьерж, хозяин волкодава, боясь отвѣтственности, разстроенно убѣждал присутствующих, что это вина кастелянши: Джемму можно было еще оттащить, но увидѣвъ знаки мужественности охваченнаго страстью пса, кастелянша грохнулась без чувств.

Ей дали чего-то понюхать и унесли в дом. Собаки кончили свою игру: отчужденныя, безразличныя друг другу, застыли уныло, поджав зады, — они сѣѣпились и их не удавалось разнять. Начались толки, споры, совѣты. У нас, в губернском городѣ (гдѣ деревянные

троттуары и цвѣточный квас, гдѣ в экипажѣ обязательно ѣхать два раза в жизни: к вѣнцу и на кладбищѣ. . . Гдѣ бочки ассенизаціоннаго обоза развозят каторжане в сѣрых арестантских платьяхъ с тяжелыми, гремящими кандалами), — в этомъ городѣ собачьи свадьбы нерѣдки. Осенью по всѣмъ площадямъ и пустырямъ, окруженная сосредоточенными псами, мечется сведенная пара, — подгоняемая вѣтромъ, улюлюканьемъ и камнями. Иногда из лавки выбѣгаетъ сидѣлецъ или подмастерье с дубинкой; онъ бьетъ брачующихся наотмашь, бьетъ по спинѣ, по головѣ, по ногамъ. Свора разступается, предоставляя сцѣпленныхъ своей участи, — отбѣгаетъ в сторону, откуда слѣдитъ за происходящимъ. Казалось бы, вольные, они могли бы скрыться, уйти подальше от грѣха и побоевъ, но подталкиваемые сознаниемъ какого-то внутренняго долга, зачарованные, псы снова сомнабулически стягиваются, уныло толпятся вокругъ брачующихся. Какой-нибудь, задѣтый за живое прохожій, с сумасшедшей судорогой в лицѣ, яростно набрасывается на собакъ и упоенно топчетъ их сапогами, — такъ самозабвенно истязуютъ только самого себя. Мальчишки завываютъ, мѣщане ищутъ подходящее дреколіе, дѣвицы пробѣгаютъ мимо, страдальчески отворачиваясь, испуганно-любопытствующія. Собакъ бьютъ, пока не отдѣлятся, — Богъ вѣдаетъ, в какомъ состояніи. Псица скрывается во главѣ стада самцовъ, уходитъ искать новыхъ обѣтованныхъ мѣстъ; окровавленный кобель ковыляетъ позади. Очевидно, что эти средства здѣсь не годились. Консьержъ предложилъ опустить собаку в горячую воду. Его жена сказала: «Наоборотъ, в холодную». Старшій врачъ по соломоновски разсудилъ: — «В теплую». Собакъ подняли и понесли. Два чело-

вѣрка с необычайной ношей, медленно переступая, пятясь, вошли в лифт. Грушевидный лифт, — за рѣшеткой виднѣлось его содержимое, — медленно поднимался, напоминая какой то древній, библейскій плод с древа жизни. Консьерж, с засученными рукавами, заперся в ванной. Мы остались в коридорѣ, как-то сразу, — самой собой, — подѣлившись на два лагеря. В одном я и старик врач; в другом, — дамы: русская Зубофф и та, нераздѣльно слилась с ними. Порой из-за дощатых дверей доносился тоненькій визг Джеммы и страдальческій, мужественный лай волкодава. Тогда женщины вздрагивали, — казалось, невидимый смычок проходил по какой-то их натянутой струнѣ. Онѣ блѣднѣли, вскрикивали, ломали пальцы. Нас, мужчин, не замѣчали. Когда смотрѣли в нашу сторону, или когда проходили мимо, взгляд их становился безцвѣтным, холодно-прозрачным, брезгливым. Казалось: упади мы сейчас замертво, — никто не пожалѣет. Директриса, вынужденная попроситься за руку со старшим врачом, долго с отвращеніем отдувалась и вздыхала. Все временно отступило: осталось только два пола, в глубинѣ глубин враждебных себѣ, — растворяющих друг друга. Наконец пріоткрылась дверь, и консьерж, комкая в руках бѣлоснѣжное полотенце, сдержанно подмигнул мнѣ. Волкадава и Джемму тотчас же увели вниз.

Настали печальные дни. Мы передвигались на цыпочках, говорили шопотом. Сестры плохо спали, поминутно ежились, вздрагивали. Со мною никто не заговаривал; послѣ ѣды дамы немедленно удалялись к себѣ, собираясь там группами, жалуясь и дѣлясь воспоминаніями. Мадемуазель Люно рассказывала о сво-

ем несостоявшемся бракѣ, называя обманувшаго ее жениха — «сгариле». Кастелянша лежала в постели, укутанная, обвязанная компрессами, с опухшим от слез лицом.

Разумѣется, это лишь часть дѣйствительности. Внѣшне жизнь наша вращалась на своих обычных осях. Дѣтей кормили, купали, лѣчили. По четвергам приходили родственники и со стороны им трудно было замѣтить какую-нибудь перемѣну. Кастелянша все не выходила из своей комнаты, одичавшая, страдающая, больная. Иногда, когда внизу растворялись двери, к ней доносился визг скучающей Джеммы; тогда кастелянша раздражалась жалкими, безутѣшными слезами. И однажды случилось неминуемое. Какія-то двери забыли запереть. Джемма вырвалась и, промчавшись по коридору и лѣстницѣ, ядром подкатилась к своей хозяйкѣ. Кастелянша испуганно взмахнула руками, закричала, но Джемма вскочила, припала к ней; визжа и захлебываясь начала лизать руки. Прошла минута. Вдруг кастелянша обняла Джемму, прижала к груди и зарыдала. Она плакала о лютом законѣ земли, о кощунственности того, что подстерегло Джемму, а ее обошло, о своей жизни, о потерянных силах и еще о чем-то, чего мнѣ не дано угадать, но что прекрасно понимала Джемма, неподвижно прильнувшая к ея впалой груди. А на-завтра кастелянша вышла в общіе покои. Она вела Джемму, строгая, блѣдная, вызывающе-гордая. Так женщина несет своего незаконно-рожденного сына, так мать представляет свою блудную, раскаявшуюся дочь. Окружающіе держали себя с тактом, боясь обидѣть, разгнѣвать кастеляншу; скрывали свое любопытство и робость, подавляя брезгливость,

ласкали Джемму, стараясь показать, что все по-прежнему. А Джемма, в какое добродушное, милое, догадливое существо она превратилась. Лай ея измѣнился: словно приобрѣл вѣс и мѣру. Она ѣла все, что давали, несмотря на возраст (8 лѣтъ) цѣлый день играла, рѣзвилась, в суровой іерархіи жизни, казалось, обрѣтя свое мѣсто.

Так, — пядь за пядью, — все утряслось, вошло в старые берега, успокоилось, забылось, — до слѣдующих тревог.

Недѣли двѣ спустя, в полдень, когда мы собрались в столовой к завтраку, канцеляристка, — итальянка, — захлебываясь от нетерпѣнія, сообщила: «Господа, вы слышали уже? Андрэ уходит из госпиталя!»! Сестры окружили итальянку, наперебой разспрашивая. Но в дверях показалась сама Андрэ; окинув нас снисходительным взглядом она сказала: — «Mesdames, у меня новость, я уѣзжаю в Париж». Наступила мгновенная тишина, из глубины которой, казалось, доносились скрепки мыслей всѣх напряженно старавшихся покорѣе разгадать причины и слѣдствія слышимаго, сообразить выгоды. Первая откликнулась м-ль Люно. Тяжелыми, мягко-женственными шагами, она приблизилась к Андрэ, протянула руки, обняла ее и крѣпко поцѣловала в лоб. (Так мать благословляет дочь перед вѣнцом; ветеран — рекрута на бранный подвиг; гувернер — ученика перед экзаменом). Всѣ сразу, точно опомнившись, шумно обступили Андрэ, витіевато и лицемѣрно ее поздравляя, суля удачу и счастливыя встрѣчи.

Л. Зуров.

НОВЫЙ ВѢТЕР.

Была тревога в небѣ и солнцѣ, взволновано, начинающая с утра, сердце — шел набор; перед воинским присутствіем татарским станом, стояли кони, телѣги. Бабы плакали, глядя на двери, откуда выходили без шапок, тупо улыбаясь, забранные в солдаты, и тонкій кладбищенскій слышен был в таборѣ плач, прерывающееся и падающее причитаніе. Заломив шапки, пьяные, с налитыми кровью глазами, новобранцы гуляли обнявшись, словно обручившись на смерть, с приколотыми к черным фуражкам бумажными розами, словно вынутыми из дешеваго кладбищенскаго вѣнка; гуляли, крестились на солнце, матерились и пѣли и уже ничего нельзя было сдѣлать, судя по их лицам, по их голосам, их брали на смерть, и безпощадно было для них лѣтнее солнце, хмѣль, не нужны телѣги и кони, черные пиджачки — и матери оплакивали их при жизни, цѣлуя, глядя их лица, обнимая, падая замертво, в птичьем трепетѣ на дно тяжелых, как ладьи, телѣг.

В этом отчаяніи, в солнечный день, женщины начинали входить в причитаніе, все больше и больше, проникаясь, заполняя себя, замыкаясь в круг горькаго плача, слушая только свой голос и, вот — вой, слезы, блѣдность, невидящіе глаза — древнее причитаніе у

казеннаго блага дома, на телѣгах, в толпѣ; плач старых подхватывают молодья, он начинает разгораться то здѣсь, то там, и в него, как в хорое пѣніе вступают новые голоса, пронзительный вопль молодой, недавно повѣнчанной бабы, она разрываясь неумѣло вторит старухам, но уже голос повел, она во власти своего голоса, вопля.

Какія древнія раскрываются могилы, рождаются из давних глубин погребальные под вѣчным солнцем холмы, страшное наслѣдіе, говорящее не об этих мѣстах — голос степи, идольскія мѣста, распущенные в горѣ волосы, кровь разодранных лиц, когда везут по степи, на волах, к могилѣ вянущее человѣческое тѣло, когда, в припадкѣ горя, к солнцу рвется крик женской утробы, что его приняла, если он муж, родила, если он сын. Раскрытая земля — и к небу крик, понятный и звѣрю и птицѣ, горькій человѣческой крик, что звучал гдѣ-то, в далеких степях, на пути, в тѣ времена, когда мѣсто у свѣтлой рѣки не было занято этим народом.

* *
*

В солнечной пустотѣ, за станціей били таинственные колокола, и из неизвѣстности, из отмѣченной утекающими рельсами дали, там, гдѣ в хрустальном истечении растворялась земля, рождалась матовая точка, росла, и станція, чувствуя издали доходящую дрожь, покорно ждала, открыв семафор, очистив пути. Крестьяне, работавшіе около желѣзнодорожной насыпи, взволнованно провожали глазами — вагоны, вагоны, мелькают колеса, мелькая, проходит по насыпи тѣнь,

двери теплушек открыты, солдаты сидят, свѣсив ноги, солдаты тѣсно стоят, и крестьянам видны их круглыя, забритыя головы.

И снова тишина, пыльная зелень желѣзнодорожнаго сада, за вокзалом торговли подсчитывают солдатскія деньги, станцію заполняет странная пустота, поглотившая шум отошедшаго эшелона, ожидающая новаго притока взволнованно проносящихся человѣческих сил. Предупреждающе бьют колокола, а день солнечный, и сжимается сердце от внезапно вступившей пустоты смертельнаго полдня.

В тѣ дни далеко отошел дом, во всем участвовало сердце, жаль было времени отданнаго сну, и сны о войнѣ, — все идет, и никто не может помочь, печально во снѣ изнемогает сердце, во снѣ живет чувство муки, полевого раненія, смерти, снятся боевыя поля, печаль от начала дней, во снѣ еще пронзительнѣй освѣщенный вечерней зарей западный вѣтер, — вечерняя заря смѣнила его дѣтскіе сны, безконечно ровные, в райской зелени луга его дѣтства, над которыми так радостно летала душа человѣка.

Мальчиком он прїѣзжал с матерью на вокзал. Там все не напоминало город, там было свое небо, свой звук, там лѣтом таилось очарованіе в вѣтрѣ, принесенном издалека, запыленными по дорогѣ вагонами, там жил мір стран и путешествій, откуда ему привезли дубовый ларец с бѣлым морским песком, в котором жили зерна краснаго янтаря и черныя жесткія водоросли. Вокзал, гдѣ все принимало участіе в чудесной игрѣ: стрѣлочники, колокола, машинист в паровозной каютѣ, дернувшійся поднявшій руку семафор, гдѣ за всѣм

наблюдали выведенные из игры стоящіе на запасных путях вагоны.

Вокзал, что снился ему преображенным, гдѣ все играло и двигалось словно под музыку, гдѣ в веселой игрѣ по ночам, освѣщенные, как корабль в андерсеновской сказкѣ, приходили из черноты, сіяя жемчужными огнями, паровозы, гдѣ на путях и на стрѣлках возникали, мѣнялись и падали цвѣтные огни, а за вокзалом разстилалась тьма, и изсиня бархатная ночь превращалась то в бездонную пропасть, то в море, и за семафором начиналось одно из тѣх чудесных, неизвѣстных человѣку морей, из котораго все рождалось, все выросло, и маяками на островѣ горѣли, призывая указывая путь стрѣлы, семафорные огни, а с моря дул знойный, несмотря на ночь, южный вѣтер, летѣлъ из тѣх бездн, с тропических неизвѣстных морей, и в мірѣ, казалось, ничего больше не было, кромѣ вокзала, и он островом возникал меж воздушных теченій и линий, меж невѣрных, отсвѣчивающих голубым сіяніем рельс, и голова кружилась от теченій звѣзд и приходящаго вѣтра, и казалось, остров не имѣлъ тверди, безконечность простиралась под ним, и невѣрен был блеск станціонных огней, блеск огней приходящих, и странно было на этой землѣ, гдѣ все безконечно открывалось вправо и влѣво, гдѣ все обмѣнивалось и измѣнялось огнями, гдѣ он не только смотрѣлъ, но и участвовал в таинственной и легкой игрѣ, радостно теряясь в уходящих теченіях рельс, а движеніе в них переходило, мѣнялось, как в теченіях живых расходящихся вод, и часто во снѣ, все исчезало, все превращалось в великолѣпное, ровно несущее море, гдѣ сами собой расходились в разных теченіях корабли, гдѣ можно было навсегда

и безвозвратно уплыть в объщаннныя и печальныя страны.

По вечерам на вокзалѣ как-то особенно легко и безпечно жила гимназическая молодость — легкія сумерки, липы вокзальнаго сада, скрип качелей, женское пѣніе, смѣх, возвращающіеся с фронта пустые, особенно гулкіе поѣзда, косо падающія за окружность вѣчнаго поля августовскія звѣзды. По вечерам он уходил за вокзал, он провожал глазами слѣдовавшіе по отцовскому пути эшелоны. Обнявъ руками колѣни, положив на землю фуражку, он сидѣлъ на сухой насыпи, а они проходили, темнѣя на вечерней зарѣ — и снова — поле, напряженное чувство слуха, запах трав, вверху дрожат телеграфныя струны. И думы об отцѣ, как он умер на западѣ, лѣтним вечером, в полѣ, там, гдѣ над сумерками матерински теплаго поля распростерт пронизанный желтизной католическій церковный закат. Там, далеко, — путь к вечерней зарѣ, мѣсту смерти, далекому лѣтнему полю, — там мѣсто отхода душ, предѣльная чистота высокихъ небес.

Август, свѣтъ вокзала. И лѣтнее тепло земли, и высокая музыка человѣческаго ухода — катящійся к фронту эшелон, островом лежащая в полѣ, рожденная рельсами станція. В небѣ проступали августовскія звѣзды, а он думал — там то же небо, тот же запах зрѣлой земли, и молодой, гулявшій во время отпуска по этой насыпи прапорщик, в зеленыхъ обтягивавшихъ юношескія колѣни галифѣ, в золотыхъ на жаркой подкладкѣ погонахъ, лежит, под землей, и потускнѣли его золотые погоны. Печальные вѣтры! Идущій с тѣхъ полей, новый, волнующій сердце вѣтер, от котораго сильнѣе дрожитъ большая звѣзда, сильнѣе пахнутъ цвѣты станціон-

наго сада. Вечера, когда необыкновенно прекрасными казались смягченные далью звуки оркестра, составленнаго из простых пѣхотных солдат, при звуках котораго шире открывалось великое небо, все дышало миром, теплом: и темная зелень лип и нагрѣтая за день, еще не отдавшая солнца насыпь. Все казалось безконечно печальным, все было непрочно в этом таинственном мѣрѣ, и столь было родственно вечернее небо, материнское тепло земли, так велика любовь и нѣжность, что в этот вечер было легко умереть.

Красный огонь на послѣднем вагонѣ, загорѣвшійся в темнотѣ над голым движением путей семафор, одинокое возвращение полем с вокзала и, словно предназначенная для него, печальная предвѣстница — упавшая над рощей кладбищенских деревьев, родившаяся для недолгаго полета звѣзда — принявшая нетлѣнную гибель, растворившаяся в небесном полетѣ звѣзда — знак чудесной и божественной гибели. И нѣтъ ея, высоко полевое, меж городом и вокзалом, августовское небо, мягок по осеннему переходящій воздух полей, когда восходит к небу дыханіе нагрѣтой за день земли, источают дыханіе травы, и далеко слышны звуки земли, — мѣрно катящійся, смягченный далью, одинокій в отходящих на отдых полях, звук вагонных колес.

И вечернее рождение города, у медленно идущих в сумерках вод, и восходящія за рѣкой смутныя тучи, что вздымаются, безвѣстно растут, гдѣ все живет в тайном, округлом движении. И дом, в непрочном, таинственном мѣрѣ, послѣ станціи, поля и звѣзд, стоящій на горѣ, измѣнившійся к вечеру дом.

* * *

*

Перед выносом к солдатским рядам из собора иконы шел перезвон — сперва звучали слабые колокола тонкими голосами, потом звуки нарастая дѣлались крѣпче, сильнѣй. Ударили в средній — и снова переход, а над собором, в чистом небѣ безвольно идут бѣлыя русскія облака.

Но вот — тяжелая дрожь, сливаясь, течет с широких колокольных краев на головы, площадь, из соборных дверей повалила толпа, выносят хоругви, вот — сладостное и медленное дыханіе соборнаго хора, бородатые священники в бархатных камилавках, мальчики в ангельских золотых стихарях медленно сходят, приподнимая длинныя полы, и все течет из собора на площадь, гдѣ дышет толпа, гдѣ, не теряясь, в толпѣ, стоит готовый к отправкѣ запасной батальон, солдаты с обнаженными головами. Молчаніе лѣта, открытое небо, войска, команду исполняют ряды, — строй, двинув ружьями, замер, и солнце ударило в вынесенную из собора икону. В молчаніи неба родился хорал, сладостное и медленное, повышающееся в своем теченіи пѣніе западных труб, при звуках которых все замирает — люди, небо, рѣка; смертелен вѣтер, смертельно солнце, безконечная пустыня вокруг; на дорогах вѣтер поднимает сухую лѣтнюю пыль. А потом — слова чуть слышно продолжаетъ вздох хора, небо принимает ладанный дым, и всѣ моленія, просьбы обращены к отлого возлежащей на носилках иконѣ, принявшей много молитв и человѣческих слез. Ей кланяются и поют священники в праздничных ризах, обращая просьбы о здравіи и побѣдѣ выстроенных по росту солдат, стриженных, как один, отмѣченных единымъ дыханіем, в скатанных шинелях через плечо, с подсумками на по-

ясах, отвисающих от тяжести боевых патронов, с тяжелыми, хорошо смазанными и пристрѣленными для боя винтовками.

Молебен кончился, гимн заиграл оркестр, и вот — раскатившіеся по линіи голоса, изступленно радостный, несмолкаемым перекатом рвущійся крик, от котораго исчезает слабое слово молитв, бьется сердце, деревенѣет лицо, жесткій холод течет по голой спинѣ, а он идет, замирая, рождаясь на флангѣ опять, и в крикѣ — страшное вѣяніе темных взволнованных крыл — из каких жестоких и страшных он родился глубин — над знакомым городом, свѣтлой рѣкою, и черные взмахи связаны с кликом людских голосов, с людьми которые от своего крика блѣднѣют. А позади солдатскаго строя плакали во время перезвона, выноса иконы, молебна — причитали, как перед казнью, тонкими головами старухи вмѣстѣ с обмиравшими от слез молодыми.

Икону давно унесли, поставили на обычное мѣсто, священники переодѣлись в алтарѣ, на станціи ждет тупой, из красных вагонов состав. Напутствіе кончилось, все принимает будничный вид, — надѣты фуражки, у офицеров суровыя лица, звучит жестоко и твердо команда. И вот — повели, слышно, как бьет барабан, а уже за плечами — винтовки, мѣшки, лица блѣдны, солдат окружает народ, бѣгут женщины сбоку; за колонной гремит обоз крестьянских телѣг; у послѣдних калиток горожанки крестятся и крестят вслѣд уходящих. Оркестр не слышен. За городом — вѣтер, густая тяжелая пыль; здѣсь, по дорогѣ к вокзалу у каждаго солдата свое лицо — всѣ постарѣли; бабы воют, как по выносѣ, высокими голосами, под

руки ведут молодую — платок на плечах, волосы разбились, глаза запухли от слез, она без голоса, но читает, а сбоку батальона идет большой унымый прапорщик в тяжелых душных сапогах, смертельно уставший от парада, молебна и воя.

Оркестр вернулся, они уехали без него, где-то далеко шел поезд, и первый раз перед ними проходила Россия, по пути к месту боев, к той земле, не видя которую, но предчувствуя, оплакивали их матери, жены в солнечный день, отпевали живых, тайно видя мертвым дорогое лицо.

Истощенные горем они возвращались домой, как возвращаются с казни, зная, что впереди — пустое за столом место, его праздничная одежда лежит в сундук. В зной, по проселкам, по болоту, с телеграфными, уходящими на далекие версты столбами шоссе, тянулись шагом телеги. Отец с горя пьян, женщины тупы и безучастны от пролитых слез, и к пустой, стоящей на солнце избѣ идет, помахивая головой, съевший в городѣ все запасенное сѣно, темногривый конь, а поле ждет, перезревая под солнцем.

И потом, работая близ железнодорожной насыпи в поле, разгибаясь, прикрывая рукой с серпом от солнца глаза, она видит — вагоны, а в них новые солдатские головы. Слезы обжигают глаза, жгут щеки и, снова сгибаясь, она жнет, вяжет снопы, кладет их на жнивье; знойный ветер сушит темное немолодое лицо, и в солнце, в отягченных хлѣбах женское лицо скорбно, как лик провожавшей Сына на смерть Богородицы. Над лбом повязан белый платок, — темное в морщинах лицо, — глаза заплаканы, но покорны, —

постарѣвшее в горѣ лицо, — а руки послушно вьют жгуты из соломы, вяжут снопы, спина болит от работы, и, разогнувшись, не видя ничего, она смотрит пустым взором на знойное небо, на поле, залитое солнцем.

1936 г.

В. Емельянов.

ЛЮЛЬ

(Из повѣсти «СВИДАНІЕ ДЖИМА»).

В первый раз я увидѣл Люль на закатѣ солнца. Было начало лѣта. Только что прошел дождь. Улица, на которую я тогда выбѣжал, была вся розовая. Воздух был влажный и чистый. Блестѣла зелень каштанов. По мокрому асфальту, шурша шинами, подѣхал к дому напротив нас спортивный голубой автомобиль. За рулем сидѣла молодая очень красивая женщина. Она легко и упруго соскочила на тротуар. Вслѣд за нею выпрыгнула бѣлая борзая. Я не знаю, как назвать то, что тогда произошло во мнѣ. Я тотчас же, весь без остатка и навсегда, почти безсознательно и ни с чѣм не считаясь, потянулся к тому, что шло на другой сторонѣ, немного склонив голову и легко переставляя лапки. Едва закрылась их калитка, я перелетѣл дорогу и увидѣл слѣды. Еще пахло духами той женщины и пахло. . . Ах, Люль, Люль! Развѣ это возможно, что тебя больше нѣтъ, что большой тяжелый автомобиль раздавил тебя на парижской улицѣ? . . Я смотрѣл на землю, по которой она только что прошла, ходил около калитки и, не сдержавшись, толкнул ее лапой. Калитка была слишком тяжелой или запертой.

— Это вы? Наш необщительный, как и ваш господин, незнакомец? Вы немного разсѣяны. . . — услы-

шал я из-за калитки. Так заговорила Люль, так началось наше знакомство. Она сказала мнѣ, чтобы я обѣжал квартал и ждал её у каменнаго забора. Я быстро нашел тот забор, но был в недоумѣніи. Забор был очень высокій и не было ни ворот, ни калитки. Я стоял, не понимая, как я мог ошибиться и прийти не туда, куда слѣдовало. . . Над забором взвилось бѣлое, и, поджав ноги, рядом со мной упала Люль. «Вот и я», сказала она, смѣясь и переводя дыханіе. Вѣроятно, у меня был очень смѣшной вид. Продолжая смѣяться, Люль спросила: «Вам понравился мой прыжок?» От неожиданности, восхищенія и от чего-то еще, что сбило мои чувства и мысли в радостный, сіяющій ком, я отвѣтил совсѣм не так, как хотѣл и как было нужно. «Но с той стороны забора земля выше, чѣм здѣсь? там что-нибудь. . .», — «Там теннисная площадка, — разгон больше, чѣм достаточный», отвѣтила Люль и заговорила о другом. . . Вечерѣло, Люль улыбалась и внимательно слушала тот, конечно, вздор, который я говорил тогда. «Я должна возвращаться домой, да и вам пора к вашему господину», сказала она наконец. «Но я хочу с вами встрѣчаться. Вы очень смѣшной. Не сердитесь, — так лучше, чѣм многое другое. Когда-нибудь, когда вы подольше поживете с нами, познакомитесь, вы это хорошо поймете. А пока, — не стойте на дорогѣ». И Люль так же, как появилась, так же и исчезла за высоким каменным забором.

Такой была наша встрѣча. Люль исчезла, не назначив мнѣ слѣдующаго свиданія. Прошло немало дней прежде, чѣм я ее увидѣл вновь. Я выходил много раз на улицу, перебѣгал дорогу, ходил около калитки, подолгу сидѣл, глядя на каменный забор. Не было ни Люль, ни голубого автомобиля. В этих неопредѣленных и тоскливых ожиданіях начались мои знакомства. До тѣх пор я не знал никого, поэтому Люль и назвала меня необщительным. Первым был Рип.

Я возвращался с моих безрезультатных поисков. На душѣ была пустота, во всем недоставало Люль. Явившись мнѣ всего один раз, она во всем сдѣлалась необходимой.

— Эй! Послушайте! Вы! Сосѣд! — крикнул кто-то мнѣ из подворотни. — Все Люль ищите? Плюньте на это дѣло: — Люль увезли. Да и не стоит ею заниматься, всё равно она не захочет знакомиться с вами. Люль горда, едва разговаривает с нами, и вы — бросьте дурака валять.

Я не отвѣтил, но Рип продолжал:

— Ну, что вы в самом дѣлѣ? Люль, да Люль! Можно ли ходить курицей из-за этого? Вѣрьте дружескому слову — плюньте. Здѣсь есть получше. Фоллэтт знаете? Моя прошлая слабость. Теперь у меня Мирза. Всегда с одной — тоска. Но не хочу лгать: Фоллэтт — то, что надо: и формы, и характер воспріимчивый. А Люль? Худа, холодна, с ней скучно: — не скажи, не сдѣлай ничего лишняго. Плюньте. И потом, повторю, Люль увезли, может быть навсегда. Завтра, когда я не буду под замком, я вас познакомлю с нашей компаніей. Будет весело, о Люль и не вспомните. Увидите сами.

Люль не было, я не знал, вернется ли она, у меня всё тоскливѣе становилось на душѣ и было слишком мало воспоминаній, чтобы оставаться всегда одиноким, я выходил всё чаще, и очень скоро у меня завязалось обширное знакомство. Много вкусов, характеров, манер думать и держаться прошло предо мною в тѣ три мѣсяца. Но я ни разу и ни в одной из моих знакомых не почувствовал того, что безошибочно узнал и чему без колебанія повѣрил в мелькнувшей тогда всего один раз и навсегда оставшейся свѣтлым видѣніем Люль.

Все это было давно, все прошло, кончилось. Нѣтъ больше Люль, я не знаю, живы ли мои знакомые той или иной поры. Теперь — тишина и одиночество. Все давно утряслось, переболѣло, волноваться больше не о чем и незачѣм. Пришло время неторопливых оцѣнок. Я перебираю в памяти всѣх, кого я знал, и останавливаюсь невольно над одной Люль, но не потому, что она была моею подругой. Мнѣ кажется теперь, что если бы я не любил ее, я все-таки не смог бы и в то время как-то по-особенному ее не замѣтить и не выдѣлать в очень немногочисленный круг. Я не хочу отмѣчать ее ум или красоту. Говорить о таких вещах в наших молодых подругах стоит вообще только тогда, когда онѣ, эти подруги, не оставили нам иных воспоминаній. Люль не принадлежала к их числу и не была тѣм, что мы находим без радости и без сожалѣнія теряем. С самой первой поры нашего взаимнаго сближенія, узнаванія и открыванія она заставила меня при-

слушаться к ней и никогда не потерять любопытства. В ней все было внешне просто и все было свое. Остальные, почти без исключения, принадлежали к большинству, которое было избито, серийно, сѣро. Публика безцеремонная, с дешевыми облѣнившимися душами, самодовольная, скучная и неумная, для которой все очень просто, понятно и легко. Ни от кого, кромѣ Люль, на меня не вѣяло свѣжестью, вспоминающейся мнѣ теперь лучше всего в ранних лѣтних утрах и только что сорванных цвѣтах, ни с кѣм я не бывал в иные минуты в такой же тихой и прекрасной торжественности, какая таится в черных усыпанных звѣздами ночах, которыя так любила Люль, ни в ком я не чувствовал той безпрестанной внутренней работы, которая не позволяет скучать, ощущать бѣдность в душевном хозяйствѣ и от которой даже повседневныя, часто совершенно незначительныя, мелочи становятся дорогими бездѣлушками. Капризы Люль, ея насмѣшливость, которых не могло не быть, потому что Люль не могла не выбирать и не высмѣивать смѣшное, меня не оттолкнули. За этими капризами и насмѣшками было то, к чему я часто шел под защиту.

Теперь мнѣ многое безразлично, а когда-то и я был злым и непримиримым. И когда я, злой и одинокій в своей правдѣ, приходил к Люль и, отвѣчая на ея заботливые разспросы о причинѣ моей злости, рассказывал ей все то, что меня угнетало, — как просто и хорошо умѣла она успокаивать, примирять, или, нѣтъ: — она учила меня быть добрым и терпимым. Я не знаю, может быть разгадка той тишины и счастья, которыя тогда спускались на меня, заключалась в интонаціях ея голоса, в том, что именно в ней одной, Люль,

я мог найти. Я не помню слов, которыя она мнѣ тогда говорила, и не в словах, конечно, здѣсь дѣло, — едва ли ими можно было утѣшиться. Важно было другое; она дарила меня сознанием, что я не одинок, что у меня дѣйствительно есть подруга-союзник во всем, есть она, та, такая, для которой на многое стоит согласиться. Так было всегда, даже в то время, когда она уходила, отдалялась от меня. Об этом — послѣ, а сейчас о второй встрѣчѣ с нею.

Я говорил, что прошло много дней прежде, чѣм я ее увидѣл вновь. Ко времени нашей второй встрѣчи мнѣ успѣли наскучить всѣ, с кѣм меня познакомил Рип. Я старался меньше выходить на улицу, но тоска ли по Люль, молодая ли нетерпѣливая кровь были сильнѣе меня. Онѣ заставляли меня общаться, искать и желать заполнить то бездонное, что открылось во мнѣ с тѣх пор, как я увидѣл Люль.

Стояли жаркіе и тихіе осенніе дни. Два моих знакомых и я лежали на берегу рѣки под широко и низко раскинувшимся деревом. Около воды сидѣл старик с удочками. Один из моих знакомых спал, другой лѣниво грыз склонившуюся до земли вѣтку. Так, каждый занятый по своему, мы провели много времени. Мимо пронесся велосипедист. Оставив вѣтку, мой знакомый лаем разбудил спавшаго и привел в ярость старика. Тот долго бранил нас, что мы нарушаем необходимую для него тишину и своим криком нарушал ее еще боль-

ше. Мои знакомые погнались за велосипедом, и эта погоня была настолько бессмысленна, что совсѣм не соблазнила меня. Я даже обрадовался, что остался один, и, поднявшись на дорогу, направился в другую сторону. Но мои знакомые скоро догнали меня и были в восторгѣ от пережитаго приключенія. У меня была тоска, они мнѣ надоѣли, и я молчал. Вѣроятно, это казалось оскорбительным. Один из них не выдержал и сказал другому:

— Джим, конечно, равнодушен к тому, что всѣх занимает. Не понимаю, какой смысл лишать себя удовольствія. Впрочем, я сомнѣваюсь, чтобы он вообще мог на кого-нибудь броситься.

Мнѣ захотѣлось попробовать мои клыки, но, к счастью, я сдержался. Произошла бы основательная потасовка, а всего через двѣ минуты. . . Я сдержался и отвѣтил вопросом:

— Чѣм вам помѣшал велосипед?

— Он не помѣшал. Но развѣ не удовольствіе погнаться, напугать?

— Не понимаю. . .

— Вы не спортивные.

— Пугать — спорт?

— Вы отсталый. Современность требует. . .

Он не договорил. Из-за поворота показался автомобиль. Он был запылен, и я не успѣл разсмотрѣть его, окраску. Я замѣтил лишь блестящія на солнцѣ фары и металлическую полосу перед колесами. Мы отбѣжали в сторону. Моих знакомых опять захватил «спортивный» припадок, а я, я стоял и не знал, что

дѣлать: бѣжать ли куда, кинуться ли тут же под колеса. Из автомобиля, молча, внимательно и чуть прищурясь, на меня смотрѣла Люль.

Мои спутники погнались за автомобилем, я, сокращая всѣ дороги, помчался домой. Да! Сомнѣній не было, — голубой автомобиль, запыленный и грязный, стоял у ворот дома. Я не знал, что дѣлать. Ждать долго я не мог. Вскорѣ должен был проснуться господин, и мое мѣсто было около него. Я не увидѣл тогда Люль и не мог объяснить ей ничего. Радуюсь, что Люль вернулась, боясь, что она не захочет даже говорить со мною, послѣ встрѣчи с той компаніей, в которой я был, как провел я весь тот день и спал ли я в слѣдующую ночь, или и днем и ночью был, как во снѣ, я не помню. Да, конечно, я спал, но почему-то не на обычном мѣстѣ под столом, около ног господина, а на террасѣ. Во всяком случаѣ, там я проснулся. Я припоминаю — кажется, все было так: когда на другой день солнце поднялось совсѣм высоко, я еще раз выбѣжал на улицу. Был ранній час, и в домѣ, гдѣ жила Люль, жизнь еще не начиналась. Вернувшись, я сѣл на террасѣ. Осеннее солнце пригрѣвало ласково и печально. Я лег, положил голову на лапы, закрыл глаза. «Люль здѣсь, вернулась. . .» счастливо дрожало и замирало во мнѣ, а ея презрительно-прищуренные глаза, которые я вижу и сейчас, заставляли меня в то утро чувствовать себя, без вины, но опредѣленно виноватым и ждать наказанія.

— . . . безобразничать на большой дорогѣ, водить дружбу с хулиганами. . . и это послѣ воспитанія у мосье Манье и во время службы господину? . . . Чтобы этого больше не было! Джим! Слышите? Я не хочу вас таким.

Как я мог не услышать, не почувствовать сквозь сон, что Люль пришла, поднялась на террасу. Я вскочил, и это оно, счастье, свалившееся на меня такой огромной лавиной, это оно дѣлало так, что я не мог владѣть чувством, которое тогда меня охватило. Волен ли я был в тѣ минуты в своих словах, движеніях. То, что тогда происходило со мной, было больше всего этого.

— . . . ну, конечно, конечно, я не сержусь, конечно — мир и дружба, — вы видите, я пришла первая. . . Я помню мягкое сопротивленіе Люль, помню, как она, смѣясь, отстраняла меня, отворачивалась, приказывала вести себя, как слѣдует. Но и она была взволнована. Она говорила:

— . . . я почувствовала здѣсь ошибку и свою вину. Я вѣрю вам и себѣ. Мы должны быть вмѣстѣ. Мой план такой: . . .

С предусмотрительной заботливостью Люль распредѣлила время наших встрѣч.

Когда из комнаты послышался кашель проснувагося господина, Люль убѣждала, не позволив мнѣ быть неточным в исполненіи моего долга. Не зная, как выразить все, что творилось у меня на душѣ, я бросился в комнату, без разрѣшенія прыгнул на диван и, опершись лапами о плечи одѣвавагося господина, лизнул его щеку и нос так, как не лизал никогда. Я получил

выговор, но это не показалось мнѣ большой бѣдой. Начались счастливейшіе дни в моей жизни.

Вѣроятно, и мнѣ не удастся избѣжать слащавости в описаніи далеких дней моего счастья. . . Но у меня есть сомнительное утѣшеніе. В моем прошлом не все было сладко.

Я не помню, гдѣ и когда я слышал: «о несчастьях тяжело вспоминать, но они помнятся лучше, чѣм счастье». И в самом дѣлѣ, какими словами можно передать то, что мы испытываем, когда рядом с нами бьется милое нам сердце, и бьется, и стучит оно в нашу жизнь, и чѣм сильнѣе этот стук, тѣм счастья больше. Отдѣльные слова Люль, обращенія ко мнѣ, ея гримаски, намѣренно-преувеличенный и комично-сокрушенный вздох над какой-нибудь моей, чаще всего вымышленной оплошностью, взгляд ласково-сердитый, внимательный и иногда насмѣшливо-лукавый, но в котором всегда, в самыя заразительно-веселыя минуты была точно какая-то печаль, как слѣд или предчувствіе чего-то безконечно-грустнаго, то или другое ея изящное движеніе, и нѣжность, всё обвѣвающая нѣжность, — вот на что я мог бы указать, привести нѣсколько примѣров в каждом случаѣ, отлично зная, что это никому ничего не скажет. Так вѣроятно нужно, что мы не умѣем объяснить этот посылаемый иногда судьбой подарок, который цвѣтает в наши будни и который мы принимаем и бережем, как рѣдкій отдых и самое высокое наслажденіе, как залог того, что и в этой, земной жизни у нас может быть хорошее.

Я говорил, что я был злой, а Люль добрая. Мнѣніе наших знакомых было иное, но едва ли правильное. Они не знали и не любили Люль, — а что можно знать без любви? Это были, большей частью, ея сверстницы, иногда болѣе милостивыя ко мнѣ, чѣм сама Люль, и с которыми она никогда не переходила черту спокойных, добрых, но ничѣм необязывающих отношеній. Дружна она не могла и не хотѣла быть ни с кѣм. Такія вещи не прощаются, и мнѣ за мое невниманіе и нежеланіе бывать с кѣм-нибудь, кромѣ Люль, приходилось не раз выслушивать, что я слишком переоцѣнил свою подругу и когда-нибудь за это буду наказан. Я наказан, Люль у меня отнята, и все осталось, как было. Люль была добра и справедлива по-настоящему и за ея внѣшним холодком билось нехолодное сердце. Она не терпѣла притворно-глубоких переживаній, но подлинное горе вызывало в ней сочувствіе и пониманіе, какія не часто встрѣчаются. Не дружна ни с кѣм из подруг, она ни одной из них не сторонилась и требовала того же от меня. Я повиновался ея желаніям, но из этого выходило мало хорошаго. Правда, Люль бывала довольна мною, когда нам приходилось встрѣчаться с тою же Фоллэтт или Мирзой, но как только мы оставались вдвоем, я немедленно переходил в лучшее состояніе, что вызывало новые упреки:

— Джим! Ты не умѣешь жить и никогда не будешь счастлив. Пока мы вмѣстѣ — все хорошо: у нас будет неплохо и нескучно. Но кто знает, что впереди. Ты должен быть готов к компромису. Пожалуйста, не спорь. Я знаю, что ты идешь на него уже и теперь, но вѣдь я вижу: ты дѣлаешь это только для меня. Мы воспитаны и обязаны быть неискренними, а ты злишь-

ся и еле сдерживаешься. Так нельзя, ты очень трудный.

Люль была права. Ей часто бывало нелегко со мной. Я избалован, конечно, и это она, Люль, избаловала меня, она сдѣлала так, что всякая фальшь, поза, разговоры о неудовлетворенности, мечты о «красивой» жизни, мелодраматичность, отсутствие такта и чувства мѣры вызывали во мнѣ отвращеніе. Люль это понимала, но понимала и то, что встрѣчи с такими вещами неизбежны, и поэтому хотѣла научить меня снисходительности и терпѣнію. Так было по отношенію к другим, но к себѣ самой и ко мнѣ Люль всегда оставалась очень требовательной.

И вот такая-то, вся нѣжная и строгая, она была со мной. Любила ли она меня? Не знаю. Что говорили, общались, что как будто уже признавали ея ничѣм невынужденныя слова: «У нас будет неплохо и нескучно»?

Люль! Почему без тебя я доживаю свои дни? Почему так страшно все кончилось? Ты хотѣла быть со мной? У нас было бы «неплохо и нескучно»? У «нас»? Не знаю, не знаю.

Как-то в зимнюю ночь я неожиданно проснулся и почувствовал, что выспался и спать больше не буду. Был я тогда молод, здоров, было просто и спокойно на душѣ. Лежа у ног гоподина, я знал, что близко за надежным каменным забором спит Люль. В комнатѣ было тепло, ночь проходила, как обычно.

Я думал о том, как счастливо сложилась моя жизнь. Люль и господин дополняли друг друга, объясняли, помогали понимать одного через другого. Живя у кого-нибудь другого, не похожего на моего господина, я не съумѣл бы, не научился бы цѣнить прелесть моей подруги, а встрѣтив на своем пути не Люль, не такую, как она, едва ли бы понял наши ночи и одиночество. И откуда-то, я не знаю и сейчас, как могло мнѣ это представиться в то блаженное для меня время, — откуда-то явилась мысль: а что, если я их потеряю, и ее, и его. Мнѣ стало так страшно, что я вскочил и уткнулся в колѣни господина. Он наклонился ко мнѣ.

— Что такое, Джим? Отчего ты не спишь? Все в порядкѣ, спи спокойно. Ты увидишь во снѣ ее, твою подругу. — Он улыбнулся. — Это правда, Джим, ночью, когда темно и никого нѣтъ, лучше всего спать и видѣть ее во снѣ.

Он гладил и успокаивал меня, говорил как будто бы со мной, а на самом дѣлѣ, это был разговор опять с самим собою. Я смотрѣл ему в глаза и видѣл, как не весело жил он, только ночью, в тишинѣ и одиночествѣ бывая в напряженной и странной близости к той, которую искал мой предшественник. Да, конечно, лишь с такою, как Люль, можно было жить этой жизнью, и лишь такая жизнь обогащала цѣнностями, заключавшимися в наших подругах. Хорошо ли это, правильно ли, счастье это или несчастье так любить, так помнить, я не знаю. В такой любви и памяти много печали, многое слишком хрупко и призрачно, но оно незамѣнимо, в нем единственный выход, единственное спасеніе, та вторая жизнь, без которой первая ничего не стоит. Что значат всѣ трудности, сопровождающая

их иногда боль, если есть то, на чем все можно удержать, не размѣнять себя, не разувѣриться и, как в Люль, послѣ ея ужасной и бессмысленной гибели, жить лучами и теплом того волшебнаго свѣта, который она зажгла во мнѣ.

Сейчас, когда я вспоминаю прошедшее, сравниваю свое чувство с чувствами других, я, — повторяю это снова, — не вижу ничего исключительнаго ни в Люль, ни, тѣм болѣе, в моем отношеніи к ней. Так же приближаясь ко второй жизни, так же познавая ее, переживали это и другіе, тѣ, кому суждено было это переживать. Больше или меньше напора, такое или иное воспріятіе — вот все различіе. Как правда, любовь — одна, и только такая. Но есть еще одна правда, тоже для всѣх одинаковая, — ея не выдержала Люль. Я расскажу об этом в свое время, а сейчас еще о далеких, счастливых днях и о ней, капризницѣ и нѣженкѣ.

Мы были в паркѣ, все шло, как в другіе дни, и только Люль захандрила и раскапризничалась почти с самаго начала той встрѣчи. Случалось и раньше, что Люль ни с того, ни с сего объявляла мнѣ, что я ее совершенно не люблю, что она мнѣ надоѣла, и что я только из непонятнаго упрямства бываю с ней, а не с другой. Это нелѣпое предположеніе меня всегда очень смѣшило, но в концѣ концов смѣялась Люль, потому что мнѣ все-таки приходилось в чем-то оправдываться, что было, конечно, очень смѣшно и что излѣчивало Люль от ея хандры. В тот день попытка посмѣяться

надо мной обернулась для Люль неожиданным образом. У меня была тоска, чувство, которое я узнал, кажется, раньше всего в жизни. Спасением от него была одна Люль, ощущение ея близости. Мы шли тогда молча и Люль заговорила первая.

— Что же мы молчим? Ты очень невеселый сегодня.

Я не знал, что отвѣтить.

— Тебѣ скучно со мной. Тебѣ никто не нравится, разонравилась и я.

Понимая всю несерьезность этих слов, я рѣшил в тот раз выслушать до конца и не прерывал потока придуманно-жалких выражений. Люль не унималась.

— Я думала: правда, Джим любит меня так, как я хочу, повѣрила. . . — и, дѣлленно-горько усмѣхнувшись, добавила: — а Джим такой же, как всѣ.

— Ты ошиблась, Люль, Джим, хуже всѣх, — в тон ей отвѣтил я, — но не горюй, тебя всегда утѣшит кто-нибудь другой.

— И правда. А ты будешь с Фоллэтт, я никогда не вѣрила, что она тебѣ не нравится.

Эта допущенная нами глупая болтовня кончилась бы без сомнѣнія, как и всѣ предыдущія в таком родѣ, и в концѣ концов Люль опять заставила бы меня оправдываться в грѣхах, которые я не собирался совершать, если бы в ту минуту к нам не подошла Фоллэтт и ея новый друг, один из тѣх, кого Люль особенно не терпѣла. Вслѣд за едва замѣтной гримасой, что-то, как озорство, блеснуло в ней.

— Вот, кстати, — весело обратилась она к подругѣ, — Джим по тебѣ страшно соскучился, поговори с ним.

Мы не будем им мѣшать, не правда ли? — и она ушла со спутником Фоллэт.

Меня нисколько не разсердил этот поступок Люль, но я рѣшительно не знал, чѣм занимать мою неожиданную собесѣдницу и поэтому не я, а Фоллэтт, нѣсколько удивленная всѣм происшедшим, первая завела разговор. Тема была старая.

— Джим! Вы, может быть, все еще считаете нас улицей, но, вѣдь, и улица. . . — и тянулась старая неправда о неудовлетворенности и пустотѣ. К ней, может быть, стоило бы прислушаться, если бы я слишком хорошо не знал, что это только слова, тема для разговора, что той же Фоллэтт никто не мѣшает уйти от неудовлетворявшей ее жизни в другую, болѣе интересную, и если бы я уже в то время не видѣл, как улица, даже в страданіи, остается вѣрной самой себѣ. Вернувшаяся очень скоро Люль прервала, к счастью, эти изліянія. Мы снова остались с ней вдвоем и она заговорила сердито и на этот раз с неприятной жалобой.

— Ты не имѣл права отпускать меня с такими. Я не обязана выслушивать то, чѣм восхищается Фоллэтт. «Вы изумительная, чуткая», «обожаю», — скажите пожалуйста. . . — какая честь. . . Какой он дурак, или за каких дур считает нас. Быть такими? . . . Джим, ты понимаешь, какая это мерзость, как неприятно, нехорошо. . . — почти со слезами на глазах жаловалась мнѣ оскорбленная в своей нѣжности, сама вся — нѣжность — Люль.

.
.

Я был в отдаленной части парка. Ко мнѣ подошел Рип: «Люль здѣсь. Иди!» Мы пошли с ним и на широкой аллеѣ вдали я увидѣл группу: Люль, Фоллэтт и с ними два или три незнакомых мнѣ спутника, с которыми онѣ оживленно разговаривали. Я подошел.

— Здравствуй! Давно тебя не видѣла, — сказала Люль и, отвернувшись, продолжала разговор. Я шел рядом с ней и чувствовал себя лишним. Все вниманіе Люль было подчеркнуто обращено к ея новым знакомым. Она дружески льнула к Фоллэтт и была вся другая, непохожая на ту, какой я ее привык видѣть. В глазах, в рѣдких встрѣчах с моим взглядом мелькнуло что-то чужое и вызывающее. Через нѣсколько минут я стал прощаться. Люль холодно-удивленно проговорила:

— Так скоро? У тебя еще много свободного времени. Ну, как хочешь. Надѣюсь, завтра увидимся?

Я простился, ушел. На другой аллеѣ я встрѣтил Мирзу и Рипа и провел с ними около часу. Мы выходили из парка вдвоем с Мирзой, Рип задержался и, догоняя случайностью, но не случайностью было вниманіе Люль и остальных. Мнѣ было тяжело, я смотрѣл в другую сторону.

— Каким взглядом проводила тебя Люль! — сказал догнавшій нас Рип.

Ночью, когда я у ног господина не спал, конечно, а находился, как и весь тот день, в тяжелом оцѣпенѣніи, я задавал себѣ вопрос, на который не мог и не знал,

что отвѣтить: что же произошло, почему за пять минут разговора я успѣлъ убѣдиться, что Люль за пять мѣсяцев разлуки измѣнилась настолько, что так далеко ушла от меня. Фоллэтт, тѣ спутники могли быть случайностью, но не случайностью было вниманіе Люль именно к ним и ея небрежность со мной. То самое, что раньше ее отталкивало, теперь привлекало. В моей подругѣ проснулось новое, она входила в другую роль и, нужно сказать правду, входила мастерски. Ея успѣхъ был несомнѣнным, — Фоллэтт казалась ея ученицей, слабым и неталантливым подражаніем.

Слѣдующій день не принес ничего новаго. Я встрѣтил Люль в том же окруженіи и, как наканунѣ, проведя с ней нѣсколько минут, ушел домой. Дня два или три повторялось то же самое. Люль все больше отдалялась, мнѣ становилось все тяжелѣе. Потом около двух недѣль я совсѣм не выходил в парк. Встрѣтившаяся как-то Фоллэтт восторженно и лживо разсыпалась передо мною в разсказах об очень интересно проведенном времени. Была ничѣм не прикрытая насмѣшка, что вот наконец-то я, Джим, тот самый, который не хотѣлъ быть ни с кѣм, кромѣ Люль, получил заслуженный урок, потому что Люль такая же, как всѣ, и хочет быть как многозначительно сказала в тот раз Фоллэтт свободной.

Проходили недѣли, мѣсяцы, я рѣдко выходил, еще рѣже видѣлъ Люль, но любил ее не меньше.

Рип говорил о взглядѣ, которым Люль меня проводила, но что было в этом взглядѣ, я не знаю. Едва ли — ревность. Вѣроятно же — недовольство, что я не хотѣлъ остаться около нея в той компаніи. У Люль была настойчивость, умѣніе желать, у меня сопротивленіе и власть над своими желаніями. Люль знала, что я все тот же, она чувствовала это так же, как я ея отдаленность. Мы были правы оба, ни она, ни я лгать не хотѣли. Наши дороги расходились. Но около меня была возвратившаяся любовь господина, его жизнь как будто бы показывала мнѣ мою будущую судьбу, и такія же, как у него, одиночество, память о первой подругѣ, показались мнѣ тогда лучшим выходом и единственной возможностью сохранить интерес к жизни и, может быть, вернуть Люль.

В одно утро, начавшееся, как другія, я ждал, когда господин кончит работу. В тѣ дни он, возвратившійся и еще болѣе оцѣнившій первую подругу, работал с обновленным напряженіем и вставал из-за стола усталый и счастливый, когда солнце уже давно поднялось. Было позднее утро, когда он выпустил меня в сад. Я хотѣлъ идти в парк и в калиткѣ столкнулся с Люль. Это было так неожиданно, что мы оба растерялись.

— Ты... куда? — натянуто улыбнувшись, спросила меня Люль. Ея голос показался мнѣ глухим и сдавленным.

— В парк, — отвѣтил я, — а ты?

— А я из парка. Тебя там не было эти дни. Я хотѣла знать: ты — здоров, дома, или нашел болѣе инте-

ресное мѣсто для прогулок? — она снова улыбнулась. — Ну, пойдём. С тобой — можно? Я не помѣшаю? — сказала она с шутовой и грустной ироніей. — Только не в парк, не в парк, пожалуйста, — добавила она поспѣшно и с отвращеніем.

Мы молча пошли в другом направленіи. Каждый раз, когда наши глаза встрѣчались, Люль принуждала себя к улыбкѣ. Что-то искривленное, дергающееся дѣлало эту улыбку вымученно-жалкой. Было похоже на то, что Люль хотѣла заплакать, но ни за что не хотѣла мнѣ этого показать.

— Они мерзко воспитаны, эти твои Фоллэтт и ея знакомые, — сорвалось, наконец, вмѣстѣ с подавленным всхлипом. — Всѣ вы — мерзкіе, грубые, вам всѣм нужно от нас только одно.

Я не знал, что отвѣтить на этот незаслуженный упрек. Я почувствовал другое: отвернуться, уйти, ставить какое-либо условіе было бы бессмысленно.

Я шел молча, мнѣ казалось: говорить было не нужно.

— Что же ты молчишь, Джим?

— Я не знаю, Люль, что ты хочешь от меня услышать?

Я и в самом дѣлѣ не знал, что я мог бы сказать. Не задавать же вопросы, почему случилось так, что я был один эти мѣсяцы, и кончилось ли теперь мое одиночество. Я не сказал ничего, но ближе подошел к Люль, так же, как подходил в то время, когда нас ничто не разъединяло. Люль поняла и благодарно посмотрѣла на меня.

Она пришла в тот раз ко мнѣ, конечно, не с раскаяніем и тѣм болѣе не за моим прощеніем. Ни в том,

ни в другом не было необходимости. Взволнованная и оскорбленная, она почувствовала тогда нужду обратиться к себѣ, той, какую она была прежде, там искать помощи. Вѣроятно, это обращеніе было невозможно, когда она бывала с Фоллэтт и новыми знакомыми, понадобились другія отношенія, другая близость и я, если я дѣйствительно тот, с которым у нея не было лжи и, еще больше, ошибки. Не себя, а меня провѣряла Люль на том свиданіи.

— Джим! Ты должен понять все: я тоже не хочу этого, и не могу иначе. Это сильнѣе нас. Тебѣ нужно разстаться со мной, полюбить другую. Так должно быть, Джим, ты должен быть счастливым. Но ты... ты нужен и мнѣ. Без тебя... Нѣтъ! Так будет, так нужно!..

Люль произносила эти слова, глядя в какую-то видимую ею одну даль, и ея глаза говорили мнѣ, что там, в той дали, для нея, Люль, счастья не было.

Она ушла в тот раз от меня, ушла опять туда же в парк, к Фоллэтт, я встрѣтил ее нѣсколько раз в том же или подобном окруженіи. Да, Люль дѣйствительно не хотѣла так жить и не могла в тѣ мѣсяцы жить иначе. Ее все там возмущало и она все принимала почти с радостью. Я не знаю для чего, но Люль часто упрашивала меня не уходить, когда к нам подходили ея новые знакомые. Не желая огорчать ее, я оставался и, помню, совершенно искренно хотѣл понять, что же привлекало и занимало тогда Люль? Виѣшность? — Нѣтъ,

не это. Внутренняя значительность? — Нѣтъ, тѣмъ менѣе — интереснаго ничего не было. Но что же тогда? Любопытство? Жажда новых ощущеній, дремавшая ранѣе и заявившая теперь о себѣ с такой огромной силой? Может быть это, не знаю. Но я знаю, что влеченіе Люль не могло быть остановлено ничѣмъ, успѣхъ, повторяю, былъ в самом дѣлѣ очень большой, но еще больше, тяжелѣе и мучительнѣе была расплата за измѣну себѣ прежней. Сквозь обиду, боль, невозможность и нежеланіе разлюбить я ждал, чѣмъ кончится эта борьба двухъ Люль. Не отвернуться, не уйти, но стать еще ближе и внимательнѣе нужно было для того, чтобы не сдѣлать еще хуже и не потушить в Люль того огня, который былъ в ней и который и в тѣ дни освѣщал и согревалъ насъ обоихъ.

Наши встрѣчи вдвоемъ в то время были рѣдкими и мучительными. Боль, ревность ощущались тѣмъ труднѣе, что я не выпускалъ ихъ на волю и спокойно, просто говорилъ с Люль. Я смѣялся, шутилъ и только голосъ у меня иногда срывался. О, если бы Люль была другой, удовлетворялась бы своей новой жизнью. Было бы тяжело, но ужъ тогда я не жалѣлъ бы о потерѣ. Гримаса, искажившая нѣжный и свѣтлый обликъ моего счастья, вызывала больше недоумѣнія и страха, чѣмъ ревности. Свѣтлые лучи не гасли никогда, ихъ покрывали иногда темные, но свѣтъ все-таки оставался. Мое несчастье и мученіе заключались в томъ, что в моей подругѣ добра было, — можетъ быть на ея несчастье — больше, чѣмъ

зла, и она не могла ужиться с пошлостью. Поэтому я терпѣлъ, молчал, ничѣмъ не показывал, как мнѣ было тяжело, но голос у меня иногда все-таки срывался. Люль чувствовала это и понимала мое состояніе, но помочь мнѣ, развеселить меня по-настоящему она не могла. Ей и самой было невесело.

Трудные для нас дни продолжались.

— ... как все нехорошо Джим, — говорила Люль, — я уйду, буду опять только с тобой.

И через минуту она прибавляла:

— Нѣтъ, так нужно, я не могу иначе.

Ея состояніе дѣлалось все сложнѣе.

— Джим! Развѣ ты мог бы любить меня, если бы я была только такая? Все пройдет, переболит, я приду, вернусь к тебѣ навсегда. Меня тянет к ним, но теперѣ я не хочу и не могу потерять тебя. Ты не отвернулся, и я уйду от них, уйду, — повторяла Люль настойчиво, — а если не хватит сил, — медленно, взвѣсивая каждое слово, сказала она, — я уйду совсѣм, выход есть всегда.

Что можно было сдѣлать? Эти слова не были игрой или кокетством со смертью. Гибель шла от смутных сбившихся чувств, из которых выхода не было. Оставаться в них Люль не могла тоже. Я понял в тѣ дни, что она дорога мнѣ не только эгоистически, и, не ду-

мая о своем несчастии, поступал так, чтобы Люль могла легче и незамѣтнѣе перейти в другое, болѣе спокойное и счастливое состояніе. Я слышал тогда же от своих знакомых об измѣнѣ, обманѣ Люль и о моем униженіи. Эти разговоры были смѣшны и жалки. Люль не скрывала от меня ничего, не мѣнялась в своей требовательности, — не знаю, был ли я унижен, если сам не опускался, и Люль за отдыхом, помощью и свободой от того, что ее влекло и угнетало, обращалась ко мнѣ. Шла борьба, я видѣлъ впереди полное возвращеніе, и мнѣ казалось, ждать оставалось недолго. Наши встрѣчи становились все теплѣе, Люль вновь расцвѣтала, нѣжная, как когда то, и только была грустнѣе.

И так, без слез, очень простыми словами возстановилась нарушенная близость. Наши встрѣчи учащались, новые знакомые все меньше занимали Люль. Она бывала все-таки и с ними, но это происходило больше из нежеланія обидѣть Фоллэтт, чѣм из потребности с ними встрѣчаться. Благодарная мнѣ, может быть за то, что я никогда не дѣлал бесполезных сцен ревности и понимал, что важно не только то, как она поступала, но и то, как она сама к этому относилась, зная, что под моим внѣшним спокойствіем таится тревога прежде всего за нее самое, она была со мной искренней в тогдашних ея переживаніях.

— Почему все так мерзко? — спрашивала она, и когда я, отвѣчая ей, не соглашался, она невесело усмѣхалась и говорила:

— Это жизнь, Джим, ты не знаешь ея, потому и вѣришь в хорошее. С тобой тоже не посчитаются. Я не понимаю тебя, вѣдь, это урок не только мнѣ, но и тебѣ. Ты вѣришь и сейчас, и эта твоя вѣра — наше счастье и спасеніе. Но я боюсь, Джим, ты тоже можешь устать и разувѣриться. Все слишком невѣрно и хрупко. Чѣм больше мы будем узнавать, тѣм грустнѣе нам будет. . . Сейчас мнѣ хорошо, у меня есть ты, есть к кому пойти. Ну, а без тебя? К кому же еще я смогла бы так же обратиться? Значит, оставаться всегда там, с ними. Нѣтъ, нѣтъ, ни за что! Но — ты? . . Ты можешь оставаться со мной и теперь? И останешься всегда? Всегда будешь таким, — так любить меня? даже если. . .? — Люль долго, внимательно смотрѣла мнѣ в глаза.

— Я вѣрю тебѣ, Джим, но я боюсь. Будет какое-нибудь несчастье. Я не знаю, не хочу больше ничего, но я чувствую: что-то должно случиться, — говорила она с тоскою.

Трудно, с болью, измученная раздвоенностью, разбитая и опустошенная, Люль очень медленно и постепенно восходила на прежнюю высоту и лишь понемногу становилась опять жизнерадостной.

В тѣ, послѣдніе, дни ея жизни Люль приблизилась ко мнѣ и стала мнѣ дорога до восторга, боли и отчаянія. Я видѣл, как надломленная, ослабѣвшая в борьбѣ, она обращалась к нашей близости, как к послѣдней надеждѣ, искала там поддержки и покоя. Убѣдившись,

что я не закрыл ей дорогу для возвращенія, как будто бы повѣрив, что вдвоем нам бояться нечего, она судорожно хваталась за все, что нас сближало и могло еще сильнѣе сблизить теперь. Мнѣ казалось иногда, что она не только моя подруга, но существо предназначенное для возможнаго земнаго счастья — столько слитности со мной, предупредительнаго вниманія и нѣжности было в ея надрывном желаніи освободиться от недавняго влеченія. Я слышу еще и теперь, как звенит этот крик о помощи. Гордая, недоступная когда-то, может быть от одного меня нескрывшая своих слез, повѣрившая и раскрывшаяся мнѣ до конца, Люль в тѣ дни болѣе, чѣм когда-либо, искренно отдала нашей близости всю себя. Казалось, все плохое прошло. Люль не встрѣчалась больше с Фоллэтт, наши встрѣчи проходили, как раньше. «Еще немного», думал я, «и Люль окрѣпнет, будет попрежнему здоровой, спокойной и веселой». Ничто ниоткуда не угрожало. Тучи собрались и гром грянул неожиданно.

Я говорил, разказывая о своих встрѣчах с недавними знакомыми Люль, что они, как мнѣ казалось, не могли ничѣм ее привлечь и заинтересовать. Люль ушла от них не только потому, что они были «мерзко воспитаны». Не будь этого, Люль, может быть, не так скоро, но все равно ушла бы. В большей или меньшей степени это был тот же мір, который я узнавал послѣ первой встрѣчи с Люль. Что еще о нем сказать? Развѣ только то, что новые знаковые Люль были болѣе раз-

вращения, кое-кто премирован, и эти до смѣшного важничали. Но между ними был один, дѣйствительно, красивый и, пожалуй, самый симпатичный поинтер. На него было обращено вниманіе Люль, и ненадолго, но именно он завладѣлъ ея чувством. Послѣ разлуки с ним, Люль, может быть несправедливо, но не вспоминала о нем иначе, как с презрительностью и насмѣшкой над собой. Поинтер был и в самом дѣлѣ не очень умен, но зато очень самоувѣрен и достаточно фатоват, чтобы вызывать восторги у Фоллэтт. Забывая о ревности и прошлой боли, я все-таки не вѣрю, что поинтер мог бы занимать долго то мѣсто, которое занимал я. Кто-нибудь другой, кого только случайно не встрѣтила Люль, — да! но поинтера я не могу себѣ представить. Только опьяненное, больное в то время сознаніе Люль, только ея убѣжденное в чем-то и покорное «так нужно» могло сопоставить тогда ее и поинтера.

Прошел мѣсяц послѣ возвращенія Люль, когда к ней подошла Фоллэтт и о чем-то тихо ей сказала.

— Говори громче, я не слышу, — раздраженно отвѣтила Люль, — что за секреты.

Фоллэтт смущенно, отлично сознавая свое смѣшное положеніе предо мною, быстро и зло проговорила:

— Какая ты странная, Люль. То — тот, то — другой. Я пришла сказать тебѣ, что поинтер уѣзжает через двѣ недѣли и хочет тебя видѣть. Что нужно передать ему?

— Передай, что мы не увидимся, а еще лучше: не

передавай ничего. Впрочем, как желаешь, это не будет имѣть никакого значенія.

Фоллэтт ушла, Люль была разстроена.

— Пойнтер настойчив, он будет добиваться встрѣчи. Но я не хочу его видѣть. Нѣтъ, нѣтъ, достаточно того, что было, — Люль передернуло. — Этого больше не случится. Я не буду выходить никуда, пока он не уйдет. Не сердись, так тоже нужно. Ты вѣришь мнѣ? Я не хочу опять уходить от тебя и боюсь, боюсь себя.

Я уступил. Может быть, было бы лучше, если бы я настоял, чтобы Люль встрѣтилась с пойнтером при миѣ. Но, должно быть, так и в самом дѣлѣ было нужно. Наши прогулки прекратились. Мы переговаривались через калитку. Прошло десять дней. В послѣднем разговорѣ Люль и я шутили, что поединок между пойнтером и мною становится, повидимому, неизбежным, так как разговаривать через калитку не очень удобно и пріятно. Люль, смѣясь, просила меня потерпѣть и не ссориться с пойнтером, если я его увижу. До меня дошло, что он повсюду ищет Люль и меня. Я был нѣсколько раз на сосѣднихъ улицахъ. Пойнтера там я не видѣл. Судьба готовила нам с ним другую встрѣчу.

Тот день начался дождем. Было холодно, грязно, и, не дождавшись у калитки разговора с Люль, я вернулся домой. Послѣ завтрака господин стал собираться в Париж. Я, как всегда, был этим доволен, — парижскія улицы, их оживленность и особенно блескъ мокраго асфальта меня плѣняли.

Мы довольно долго были в конторѣ фильмовой компании, для которой господин писал в то время сценарій, и вечернія сумерки уже окутывали слегка январское ненастье, когда мы подошли к какому-то перекрестку и остановились, ожидая возможности перейти дорогу. Мимо проѣзжали автомобили, громыхали и скрипѣли тормозами тяжелые автобусы. В мелькнувшем на секунду пустом пространствѣ между автомобилями я увидѣл наискось от нас на другой сторонѣ хозяйку Люль. Предполагая, что гдѣ-то близко и сама Люль, я рванулся было через дорогу, но господин сердито приказал мнѣ вернуться. Он взял меня за ошейник и отпустил только тогда, когда автомобильный поток кончился и мы стали переходить улицу. Я сейчас же нашел Люль. Не останавливаясь, она мнѣ бросила: «Терпѣніе, Джим, скоро увидимся, конец близок». Это были ея послѣднія слова. Мы увидѣлись скорѣе, чѣм думали, и конец, в самом дѣлѣ, оказался очень близок. Я не знаю, как это случилось, но когда мы с господином прошли дальше и вышли на большую, широкую и не очень шумную улицу, я увидѣл вдали на другой сторонѣ силуэт Люль. Она шла по краю тротуара навстрѣчу нам. Ея хозяйка шла вслѣд за нею.

Весь запыхавшійся откуда-то выскочил пойнтер. Он подбѣжал к Люль и горячо и возбужденно заговорил с нею. Разстояніе между нами сокращалось, и я, несмотря на сгущавшіяся сумерки, видѣл хорошо, как Люль коротко отвѣтила и отвернулась. Он бросился на нее. Я помчался по другой сторонѣ. Люль побѣжала почему-то не к своей хозяйкѣ, а в мою сторону. Она, конечно, убѣжала бы от пойнтера. Легко, едва касаясь

тротуара, она почти без усилий дѣлала большіе скачки, пойнтер, все болѣе отставая, гнался за нею. Поравнявшись со мной, Люль круто свернула на мостовую. Было ли это желаніем уйти от преслѣдованія, увидѣла ли она меня и хотѣла ли во мнѣ найти защиту, или. . . или показалось ей, что не стоит, нельзя жить, встрѣтившись опять с пойнтером, что «так нужно», я не знаю. Вслѣд за тѣм мгновеніем, когда ея сухое и узкое тѣло отдѣлилось от тротуара, в моих глазах все потемнѣло, закружилось и потом точно оборвалось и полетѣло в пропасть. Я услышал страшный крик Люль, скрип тормазов и увидѣл бѣлое и красное за передним колесом большого зеленого автомобиля. Послышались крики и нетерпѣливые гудки. Зеленый автомобиль и собравшаяся толпа любопытных мѣшали движенію. Я пробрался сквозь толпу и над раздавленной грудью Люль встрѣтился с пойнтером. Как все происходило дальше, я хорошо не помню. Мы, кажется, схватились там же в толпѣ, нас разняли, но мы вырвались и продолжали нашу схватку в другом мѣстѣ, гдѣ нам никто не мѣшал. Пойнтер знал приемы, оказался сильнѣе, и не я должен был остаться в живых, но мнѣ удалось добраться до его горла. Это случилось, впрочем, помимо моей воли. В тѣ минуты, когда мы катались по землѣ, пойнтер схватил мою лапу, прокусил ее до кости и, сдавливая ее все крѣпче, до хруста, в напряженіи поднял голову. Его горло осталось раскрытым. Горе потери Люль, боль, которая все усиливалась от мертвой хватки, нашли свой выход в том, что я также почти намертво и глубоко впился в натуженное, а потом сразу ослабѣвшее и наполнившее мой рот густой и теплой кровью горло пойнтера.

Я уходил на трех лапах, бесполезным побѣдителем и навсегда одиноким. Капала кровь, капали слезы, когда я вернулся на мѣсто смерти Люль. Ее убрали и там, на асфальтѣ, гдѣ была ея кровь, я едва мог различить небольшое пятно. Я смотрѣл, как оно исчезало под шинами проѣзжавших автомобилей.

В темнотѣ, под вновь усилившимся дождем, я медленно возвращался в наше предмѣстье. Когда капли дождя падали в раскрытую рану, было очень больно. Господин услышал, как я поднялся на террасу, открыл дверь и, увидя мою рану, бережно обмыл и забинтовал ее.

— Я видѣл все, Джим, — сказал он мнѣ, — это тебя он, твой соперник? Я не думал, что ты вернешься. . . Бѣдная Люль! . .

Я закрыл глаза, мнѣ хотѣлось не открывать их больше никогда.

Господин долго сидѣл в тот вечер около меня и во время всей моей болѣзни был внимателен и ласков.

Моя рана давно зажила и болит теперь только при неосторожных прыжках и в дурную погоду. А во всем моем существѣ осталась другая рана, которую скоро закроет смерть.

Люль! Неужели и тогда, там, за смертью, я тебя никогда не увижу?

Когда мы в Россію вернемся — о, Гамлет восточный,
когда? —

Пѣшком, по размыгтым дорогам, в стоградусные холода,

Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов. . . :
пѣшком,

Но только навѣрное знать бы, что во-время мы
добредем.

Больница. . . когда мы в Россію. . . колышется счастье
в бреду,

Как будто «Коль славен» играют в каком то примор-
ском саду,

Как будто сквозь бѣлыя стѣны, в морозной предугрен-
ней мглѣ

Колышатся тонкія свѣчи в морозном и спящем Кремлѣ,

Когда мы. . . довольно, довольно. Он болен, измучен
и наг,

Над нами трехцвѣтным позором полощется нищенскій
флаг,

И слишком здѣсь пахнет эфиром, и душно, и слишком
тепло,

Когда мы в Россію вернемся. . . но снѣгом ее замело.

Пора собираться. Свѣтает. Пора уже двигаться в путь.

Двѣ мѣдных монеты на вѣки, скрещенныя руки на
грудь.

Три страсти есть, которыми от вѣка
Уничтожается дом человѣка.

Вот Богом проклятыя имена:
Плоть женщины, плеск карт и пар вина.

Спасайтесь, вышибайте клином клин,
Льпите дух в противоборствѣ глин.

Брось женщину, подумай об ином,
Осуществи забвеніе вином.

«А ты, вино, осенней стужи друг,
Минутное забвенье горьких мук»,

Отступишь перед женскими плечами,
Отступишь перед женскими ногами.

Так с любострастьем борется вино,
Сим чашам равновѣсье суждено.

Но всепобѣдная встает игра
Быстрѣ мух, острѣ топора.

И третья страсть глумится над врагами.
И в жадном сердцѣ дикими лучами

Распространяется Шестерка Пик
Стальнѣй мечей и тверже статных пик.

От снѣга, как от соболей,
Не гнутся плечи у прохожих,
И ты, на ангела похожій,
По бѣлому идешь смѣлѣй.

Вот так — ступать по облакам,
По млечной ледяной дорогѣ —
Крылатый трепет по рукам,
Слѣдов не оставляют ноги.

И улица к лучу луны
Сегодня подведет вплотную.
Лети, я больше не ревную,
Я вижу ангельскіе сны.

Свѣжи в предутреннем туманѣ
Деревья, травы и цвѣты,
Когда еще поют цыгане. . .

В прозрачной заводи пусты
Ладьи в мечтательности ранней.
Молчат плакучіе кусты. . .

Когда еще поют цыгане, —
С неизмѣримой высоты
Сіяет мѣсяц на прощанье

И разсыпаются цвѣты.

Георгій Иванов.

ОТРЫВКИ.

1.

Прощай. И скрипка падает из рук.
Прощай, мой друг. И музыка смолкает.
Жизнь размыкает на мгновенье круг
И наново, навѣки замыкает. . .

2.

Упал крестоносецъ средь копій и дыма,
Упал не увидѣвъ Иерусалима.

У сердца прижата стальная перчатка
И на ухо шепчет ему лихорадка:

Зароют, зароют в глубокую яму,
Забудешь, забудешь Прекрасную Даму,

Забудешь все божье и все человѣчье...
И львиное сердце дрожит как овечье.

3.

Все на свѣтѣ очень сложно
И всего сложнѣе мы.
Все на свѣтѣ невозможно
Кромѣ музыки и тьмы.

Все на свѣтѣ очень просто,
Да и мы совсѣм просты:
Сосчитай, не сбившись, до ста
В звонком мірѣ пустоты.

Задрожишь... Как снѣг растаешь...
Восхитишься чѣм ты стал...
Только нѣтъ — не сосчитаешь,
Как никто не сосчитал.

Лазарь Кельберин.

1.

О, как знакомо мнѣ все близкое тебѣ,
Нетлѣнных радостей смертельная отравля!
Любить, — зачѣм любить, без власти и без права?
Желать, — зачѣм желать наперекор судьбѣ?

В торжественной тиши нѣмых твоих мечтаній,
В лучистой пустотѣ твоих больных міров,
Забудь, забудь, дитя, недавних разставаній
Веселую тоску и правду давних снов. . .

— Мнѣ хочется уйти от тѣх воспоминаній,
Мнѣ хочется прожить без нужных дѣл и слов,
Без утѣшительных утрат и упованій. . .

И только в сумерки, у мгlistых берегов,
Чтоб океан будил, шумя и замирая,
Невнятный плач во мнѣ. . . Но слез не вызывая.

2.

Говорят, что чудес не бывает, и, значит, недаром
Здѣсь босыми ногами ступать по песку горячо. . .
Лишь больная цикада, плѣнившись чудесным загаром,
С надоѣвшей сосны пересѣла к тебѣ на плечо.

С музыкантами юга, живущими здѣсь в изобильѣ,
Мнѣ не справиться, нѣтъ, никакими стихами к тебѣ!
Только лапками тронут невзрачные, нервныя крылья,
Уж играют, чуть свѣтъ, аплодируя сами себѣ.

Ну, а эта, навѣрно, мечтатель. . .

По узкой тропинкѣ

Поднимались втроем. Из когда то приснившихся ей,
С каждым шагом слетали с плеча неживыя песчинки,
Золотые слѣды недосказанной жизни твоей.

И я молча слѣдил, через корни ступая крутыя,
Как в тѣни и сіяніи тают слѣды золотыя.

ПАРИЖСКИЙ РАЗСКАЗ.

Я шел из запыленного предместья
В Париж. Осенний праздничный закат
Стоял над кучей балок и жестянок,
Над вшивым смрадным хламом, где роится
Голь пригородная. Закат сиял
Над ржавой изъязвленной нищетою
С таким же вѣковым великолѣпьем,
С каким вѣнчал прекраснѣйшую в мѣрѣ
Симфонию парижских сѣрых красок.
Я миновал заставу городскую
И шел к метро, брезгливо предвкушая
Волну подземной сладковатой вони,
Когда увидѣл мирную картинку:
Под тяжким сѣро-каменным навѣсом
Стоял старик с лотком. (Он оказался
Почти слѣпым).

За выступом стѣны
Взобравшійся на лѣсенку мальчишка,
Прицѣпившись бамбуковым шестом,
Внезапно сбросил шляпу старика
На пыльные корзи и леденцы.
Старик заерзал, и, хватая воздух
Безпомощными глупыми руками,
Забормотал и засопѣл тоскливо.
Он суетился, шаря по лотку,
Вылавливая шляпу и бумажки,

Разнообразный разноцвѣтный сор,
Насыпанный проказником веселым.
Пугливо и слезливо озираясь,
Он жаловался, как дитя, в пространство,
Он всхлипывал — но всѣ вокруг него
Раскатисто и вкусно гоготали.
Я видѣл, как в глазах стояли слезы
Великаго веселья, как краснѣли
Носы, затылки, как вспухали пуза
От хохота. Протяжный чревный стон
Стоял над обезумѣвшей от смѣха
Счастливою толпой. . . Со мною рядом —
Стояли деревенскія дѣвицы,
Два смирных и беззлых существа.
Но как онѣ смѣялись! Задыхаясь,
Сверкали лошадиными зубами,
Корявыми клыками в синих деснах.

Я не успѣл опомниться, когда
Увидѣл, что мальчишка лѣзет снова
На лѣсенку с бамбуковым шестом.
Я опьянѣл от гнѣва — в два прыжка
Я очутился рядом. И, схватив
Его за локоть, медленно сказал я,
Стараясь быть спокойным, — что не надо,
Что дурно — злить слѣпого старика.
В миг был я тѣсно окружен толпою.
Какой то невеселый человѣк,
Остро кольнув звѣриными глазами,
Сказал: — пошел туда, откуда ты
Свалился! . . Сзади начали тѣснить.
Воистину, не лица, — рыла, рыла

Оскалились вокруг. Раздались крики:
— Как смѣет, сволочь, обижать мальчишку!
— Чего им любоваться! — Пропустите,
Ему не вредно в зубы получить! . .

Уже в Парижѣ (мнѣ везло в тот вечер),
Идя к себѣ, я видѣл, как навстрѣчу
Бѣжал худой зеленолицый мальчик.
Он пролетѣл в подъѣзд. Гигант усатый,
Что гнался за ребенком, стал и плюнул,
Стѣсненно, шумно, яростно дыша.

. . . Ты помнишь, очень-милая моя,
Как я, придя к тебѣ в тот вечер в гости,
Сидѣл, опустошенный, оглушенный,
Как я потом пытался рассказать
Тебѣ о старикѣ и о пирожных,
Посыпанных окурками, о людях,
Так шумно веселившихся. . . О том,
Как жадно гнался грузный человек
За мальчиком, и как мнѣ страшно вспомнить
Истерзанное ужасом лицо.

Париж 1933.

НОВАЯ АМЕРИКА.

1.

О первые знаки прекрасной и страшной эпохи. . .
О каравеллы. . . О желтые флаги чумы. . .
О под пальмой зачатая жизнь и любовные вздохи,
Пуританскіе громы, органы небес и псалмы.

Всѣ в черных одеждах и шляпах. Но чист этот бѣлый,
Как помыслы праведников, отложной воротник.
Жизнь — бурное море. Как ноев ковчег каравелла,
Доносится из темноты о спасеніи крик.

Но время течет не рѣкой, а гигантским потоком.
На гибель несчастнаго некогда нам поглядѣть.
Уже он в кипящей гееннѣ, отверженный роком,
И ангельских труб слышен голос — печальная мѣдь.

Вздувается парус дыханьем из огненной пасти.
О новый Израиль! О вопль псалмопѣвца среди слез!
Корабль вертоградом расцвѣл, корабельныя снасти,
Как струны давидовой арфы, как музыка гроз.

Объята вселенная страшным и дивным пожаром.
Все громче органы режут и псалмы пуритан,
Все ближе Сіон — с каждым новым небесным ударом,
Качается, как Немезиды вѣсы, океан.

А грѣшникъ в гееннѣ, и мельничный жерновъ на выѣ.
Но в час торжества невозможно никакъ позабыть,
Какъ были заплаканы эти глаза голубые,
Какъ голосъ взывалъ изъ пучин — о желаніи жить!

2.

Миръ снова, какъ палуба, в черномъ густомъ океанѣ.
Подъ грохотъ ночныхъ типографскихъ свинцовыхъ страстей
Надъ пальмами солнце восходитъ, поютъ пуритане,
И утренній вѣтеръ сталъ гимномъ средь лирныхъ снастей.

Что мы покидаемъ навѣки? Немного.
Жилище, чернильницу, нѣсколько книгъ.
Что значитъ чернильница или берлога
В сравненіи с лавромъ и с бронзой квадригъ?

О это волненье на дымномъ вокзалѣ,
Когда чемоданы, какъ бремя, несутъ!
О грохотъ багажныхъ телѣжекъ! Изъ стали —
Огромныя стрѣлки вокзальныхъ минутъ.

И спичка горящая есть катастрофа,
Гдѣ гибнутъ міры электронныхъ природъ.
И бабочка, что на булавкѣ, — голгофа.
Расходится в полномъ молчаньи народъ.

Терзаетъ, какъ червь, послѣ зрѣлищъ сомнѣнье.
Кто правъ? Судія или тотъ человѣкъ?
И в хлопаньи крыльевъ орлиныхъ и в пѣньи
Рождается новый неслыханный вѣкъ.

Едва возникают его очертанья,
Не то небоскребы, не то корабли.
Над новой Америкой солнце в сияньи
Восходит из зимней морозной земли.

3.

Мечтатель, представь себѣ нефтепроводы,
Лет аэропланов и бремя трудов.
Дым топок, вокзалов и труб. Пароходы
И бархатный рев пароходных гудков.

Представь себѣ шлюзы, системы каналов,
Движенье атлантов до самой Москвы,
Пакгаузы фруктов, теплицы вокзалов,
Вулканы пшеницы — в амбарные рвы.

Грохочут экспрессы средь тундр и сияній,
Трубят ледаколы в торжественный рог —
По трафику точных стѣнных расписаній.
А рейсы — Архангельск и Владивосток.

Ты будешь такой — Вавилоном, Пальмирой
Иль Римом! Хотим мы того или нѣтъ!
Ты будешь прославлена музами, лирой!
Но будешь ли раем? Мужайся, поэт!

Вѣдь, может быть, в час торжества и обилія свѣта,
Под музыку гимнов, органов, свирелей, псалмов,
Никто даже и не посмотрит на гибель поэта
В кромѣшных пучинах, в гееннѣ кипящих валов.
Париж, 1936.

Стихает день в мерцаньи паутин,
Тревожнѣй птиц полет в лиловом отдаленьи,
И сердцу хочется лишь от себя уйти,
Куда то в сторону, гдѣ в медленном пути
Печальной осени холодныя колѣни.
Холодный шорох в хрупкой вышинѣ
Скользит к землѣ прозрачным листопадом,
И солнце, будто бы огромная лампада,
Пролившись западом, припало к тишинѣ.
Какіе страшные глаза утрат,
Когда за них в борьбѣ смертельное видѣнье! —
Такая будет ночь, такое — до утра. . .
Вот ледяным бичем затихшаго бедра
Касается уже крылатое паденье.
Касается, и будто нѣтъ спасенья;
Оно звенит, как колокольный бред: —
Да, гибель здѣсь, вот в этом Ноябрьѣ,
И не было, не будет воскресенья.
Спасенья нѣтъ. Но отчего легко,
Как в юных снах, — их взрослые не хвалят, —
Как будто близко то, что было далеко,
Как будто музыкою огненной влеком —
Опять идти дорогой Парсифаля.

1.

Все тягостнѣй, все непробуднѣй
И все безотчетно скучнѣй
Мои неподкупныя будни,
Упорство медлительныхъ дней.

И только в тревожном сіяньи
Раскосых и ласковыхъ глаз,
И только в невѣрномъ дыханьи,
Еще раздѣляющемъ насъ,

Я вдругъ забываю о честномъ
И бѣдномъ сознаньи моемъ.
Есть властная прелесть в безвѣстномъ,
Невѣрномъ, раскосомъ, чужомъ.

Какъ будто цыганское пѣнье
И горькая легкость ночей
Сожгли вѣковое терпѣнье
Сіяньемъ тревожныхъ лучей.

2.

Если счастье улыбнется,
Ослѣпитъ мои глаза,
Если в сердцѣ отзовется
Благодатная гроза...

А пока прощай без срока,
Продолжай нелегкій путь,
Не даю себѣ зарока,
Не пошлю тебѣ упрека.
Если хочешь — позабуди.

Только если грусть проснется,
Вспомни этот краткій час:
Может быть, тебя коснется
Тайный луч, плѣнившій нас.

Если грусть в тебѣ проснется,
Если луч тебя коснется,
Если счастье улыбнется
Торжеством лучистых глаз.

Ирина Одоевцева.

1.

Полночь. Шорох холоднаго шелка,
Звон стекла, отодвинутый стол.
Но в пуховой подушкѣ иголка
И почти незамѣтен укол.

Черным вѣером музыка стала,
Из под ног улетает паркет,

В восхитительном шорохѣ бала
Гаснет люстры божественный свѣтъ.

Вот и все. Только музыка глуше,
Всходит бальное солнце в окнѣ.
Наши дѣтскія, мертвыя души
Спят обнявшись и плачут во снѣ.

2.

Весной в лѣсу таинственном
Булонском, восхитительном —
О, этот день единственный
Блаженный, свѣтлый, длительный.
Трубит труба побѣдная,
Труба автомобильная.
Весна такая блѣдная,
Холодная, безсильная.
А платьѣ очень бѣдная
И сумочка немодная
И даже шляпа пыльная.
В Лоншанѣ скачут лошади,
Конечно страшно нравится,
До одури, до зависти. . .
Но сердце? Нѣтъ, не справиться.
О, только бы прославиться,
Чтобы на круглой площади
Мнѣ памятник стоял!
— Но развѣ можно выиграть?
— Попробуй, вѣдь игра.
Покрыть удачу козырем
С побѣдой по пути

И в дом, над бѣлым озером
Хозяйкою войти,
Женою? Нѣтъ, вдовою
С влюбленностью, с тоскою
И маленькой рукою
Закрѣть ему глаза.

Анна Присманова.

Развѣ помнит садовник, откинувшій стекла к веснѣ,
Как зимою блистали в них бѣлые стебли мороза?
Развѣ видит слѣпой от рожденья, хотя бы во снѣ,
Как пылая над стеблем весною красуется роза?

Проза в полночь стиху полагает нижайшій поклон.
Слезы служат ему, как сапожнику в дѣлѣ колодка.
На такой высотѣ замерзает воздушный баллон,
На такой глубинѣ умирает подводная лодка.

Нас сквозь толщу воды не услышат, кричи — не кричи.
Не для звѣря рожок, что трубит на осенней ловитвѣ.
Вѣдь и храм не услышит, как падает тѣло свѣчи,
Отдававшей по каплѣ себя на съѣденье молитвѣ.

ПОТОНУВШІЙ КОЛОКОЛ.

В полночь в озеро скатили
духи колокол с горы.
Стал звонить он из-под лилій
потонувшій, с той поры.

Горе! колокольный мастер
в горы плоть свою понес.
И жена его в несчастьи
выплакала крынку слез.

Там гдѣ Виттиха мышонка
кормит, лѣшаго пасут,
видишь, двое в рубашенках
тащат горести сосуд.

Эти водоросли, слезы,
эти голые птенцы,
в эти горькіе морозы
эти дальніе концы. . .

В стужу рубка. Мелким стуком
дровосѣк счищает снѣг.
О, внимлите этим звукам —
стонет будто человек.

О, взгляните в глубь покоя,
в дом, упавшій в водоем —
в отраженье, в жизнь, из коей
мы живыми не уйдем!

Сентябрь и май смѣшались: тонкій
Полупрозрачный воздух пьем.
Пронесся дождь. Струею звонкой
Вода сбѣгает в водоем.
И наклоняясь над водою,
В прохладном золотѣ струи
Я вижу небо голубое
И прямо в нем — черты твои:
Твой лоб дѣвически округлый,
И волосы в узлах тугих,
И тонкій крест на шеѣ смуглой,
И синіе глаза, — а в них —
В озерах чистых и огромных —
Все вмѣстѣ: осень и весна,
И облаков полет бездомных,
В них лучезарнаго вина
Струя звѣздящаяся блещет,
И ясный, затемняя день,
В них страсти будущей трепещет
Едва разбуженная тѣнь.

Владиславу Ходасевичу.

Все глуше сон, все тише голос,
Слова и рифмы все бѣднѣй, —
Но на камнях проросшій колос
Прекрасен нищетой своей.

Один, колеблемый вѣтрами,
Упорно в вышину стремясь,
Пронзая слабыми корнями
Налипшую на камнях грязь,

Он медленно и мѣрно дышет —
Живет — и вот, в осенней мглѣ,
Тяжелое зерно колышет
На тонком, золотом стеблѣ.

Вот так и ты, главу склоняя,
Чуть слышно, сквозь мечту и бред,
Им говоришь про вѣчный свѣтъ,
Простой, как эта жизнь земная.

1936.

РАГУЗА.

1.

Синяя прорѣзь окна
Монастырь святого Франциска.
Смотрит на нас с полотна
Средневѣковъй епископ.

А за стѣною — простор,
Камни и бѣлыя башни,
Море и линія гор,
Рокот прибоя всегдашній.

Эдакую тишину
Дал же Господь в утѣшенье!
К башенному окну —
С синею, свѣжею тѣнью —
Чтобы слѣдить без слов
Пѣристых облаков
Медленное движенье.

2.

От удушья крови и возстанія
Уходили в синеву морей.
Жили трудным хлѣбом подаянія,
Нищенствуя у чужих дверей.

Столько встрѣч и счастья разставанія!
Было в этой жизни, наконец,
Столько нестерпимаго сіянія
Человѣческих больших сердец.

Падая от бѣдствій и усталости
Никогда не отрекайся ты
От послѣдней к человѣку жалости
И от простодушной теплоты.

Вопреки всему...

П. Ставров.

1.

Четыре улицы — раскинутыя руки.
Скорѣй бѣда настала бы.
Под вѣтром, как на палубѣ
И этот
Непрекращающійся шепот
Осенней сырости конца.
Что нынѣ эти жалобы,
Какія пѣсни прокляты,
Какія руки отняты
От мокраго лица?
Затертые и смытые,

Мы знаем все и считаны
Всѣ капли по стеклу.

Четыре улицы

омытыя

И капли тычутся

забытыя,

Слѣпыя по стеклу.

И вот — осеннія стенанія

По холоду воспоминаній.

2.

Когда и дрема и покой

В ночном чаду истратятся

И разговор, как шар пустой

Отскакивая, катится

И шелуху огней в слова

Перетирают жернова. . .

И нѣтъ возможности понять

(В который раз — не сосчитать)

Глухого утра за ночной

Бѣлесоватой пеленой

И остается —

неземной

Звончайшій шаг по мостовой.

Господи, Господи, Ты ли
Проходил, усталый, стократ
Вечером, в облакъ пыли,
Мимо этих простых оград.

И на пир в галилейской Канѣ
Между юношей, между жен
Ты входил, не огнем страданья,
Но сіяніем окружен.

В час когда я сердцем с Тобою
И на ближних зла не таю,
Небо чистое, голубое,
Вижу я, как будто в раю.

В черный день болѣзни и горя
Мой горячій лоб освѣжит
Воздух с берега свѣтлаго моря,
Гдѣ донинѣ Твой слѣд лежит.

И когда забываю Бога
В темном мірѣ злобы и лжи,
Мнѣ спасенье — эта дорога
Средь полей колосающейся ржи.

1.

Хочется Блоковской, щедрой напѣвности
(Тоже рожденной тоской),
Да, и любви, и разлуки, и ревности,
Слез, от которых покой.

Хочется вѣрности, денег, величія,
Попросту — жизни самой,
От неприютности, от безразличія
Тянет в чужую Россію — домой. . .

Лучше? — не знаю. Но будет иначе,
Многим бѣднѣе, многим богаче —

И холоднѣе зимой.

2.

Не согласны. Ни за что.
Так темно и вдохновенно,
Традиціонно, современно,
Жить как всѣ — и как никто.
Поздно. Все проходит мимо.
В жизни, наконец любимой,
Больше мѣста нѣт.
В той, что выдумана нами,

Мы бессонными ночами
Сторожим разсвѣт. . .

Ждем не чуда — а прощенья,
Не любви — а удивленья
(Терпѣливо, до утра).
Не согласны. Всѣм пора.

Вдохновенный обыватель,
Цѣломудренный мечтатель,
Мы пойдем навстрѣчу маю,
Вызывая птицѣй смѣх. . .
Ничего не принимая,
Принимая все — за всѣх.

3.

От солнца, от силы — свободы,
Свободы к чему и куда?
Высокіе, пыльные годы,
Как в лѣтніе дни города.

Как в час не-печальной разлуки,
Напрасно-тревожный вокзал. . .
Но от вдохновенья, от скуки
Кто сердцем еще не устал?

У моря — нѣжнѣйшаго в мірѣ,
В пустыющей, лѣтней квартирѣ
Кому не хотѣлось зимы?

Свобода — соленое слово...
Но сердце давно уж готово
Для жизни уютно-суровой
(Какой — безразлично) тюрьмы.

4.

Только с Вами. Только шопотом.
В удивленной тишинѣ
Подѣлюсь неполным опытом
Памятным, понятным мнѣ...

Гордым опытом бездомности,
Стыдным опытом любви,
Восхищенной нескромностью
И смиреніем в крови.

— Из свѣтлѣющей огромности
Лѣта в городѣ пустом
Двѣ дороги: в смерть и в дом.

Холодно. Тоска бездѣтная
Вновь протягивает руку
Под октябрьским, под дождем...
А цыганское, разсвѣтное
Предвѣщает ту разлуку,
Для которой всѣ живем.

Осень — не осень. Весна — не весна,
Попросту полдень зимой. . .
Как Вы сегодня проснулись от сна,
Друг непрощающій мой?

Трезвая совѣсть. И нѣтъ сожалѣнія,
Вам не понять моего удивленія.

Мнѣ беззаконность дается не даром.
В жизни, такой ни на что не похожей,
Только свобода и боль.

Можно гулять по прозрачным бульварам,
Гдѣ покупает газету прохожій
(В Англии умер король).

Можно, конечно, вернуться домой. . .
Друг непростительный мой.

ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ ЛАЗАРЬ.

Оскар Уайльд, как известно, утверждал, на зло реалистам, что Тернер создал Лондонские туманы. Этот парадокс приобретает полную убедительность в при-
мѣненіи к природѣ человѣческой, особенно социальной. Искусство формирует личность и разрушает ее. Илиада или пѣснь о Роландѣ создавали героев, «Отверженные» или «Давид Копперфильд» — людей добрых и чувствительных, Вертер — самоубійцу. Трудно назвать простой модой эту способность людей подчинять свою жизнь и личность вліянію искусства. Если это мода, то мода — глубочайшее выраженіе социальной природы человека. Огромное большинство людей находят свою личность только в типах и образах своей социальной среды. И в этом процессѣ чувственно-заражающее, колдовское «обаяніе» искусства, часто дѣйственнѣе суровых и потому скорѣе отталкивающих моральных дисциплин. Политики всегда сознавали эту власть искусства; отсюда социальный заказ. Недавно Сетницкій в своей книгѣ «Об общественном идеалѣ», исходя из весьма рационалистических и наукообразных предпосылок, подчеркнул с особой силой значеніе художественной образности для воплощенія Федоровской социальной утопии.

Это не значит, однако, что искусство имѣет первичное значеніе; что в нем самом лежат послѣдніе корни жизни. Напротив, вся власть искусства — в его ясно-видѣніи, в его магической чуткости, иногда пророческой медиумичности. Художник ловит на свою антенну голоса из міра, неизвѣстнаго ему самому, из міра «иного», «подсознательнаго» или будущаго. Искусство предполагает болѣе глубокое, чѣм оно само, бытіе. Это бы-

тѣ непосредственно открывается религиозному опыту. Но искусство болѣе чутко отражает всѣ колебанія в этом самом таинственном мірѣ опыта, чѣм облекающая его теологія или социальная религія вообще.

Отсюда, из этой медиумической чуткости искусства, прямо вытекает, что в эпохи распада духовной іерархіи искусство становится одним из самых сильных ядов разложенія. Не подлежит сомнѣнію, что мы живем в эпоху — вѣроятно, в самом концѣ ея — гибели гуманистической культуры, которая выразилась с предѣльной четкостью в XIX вѣкѣ. Искусство не отражает этой гибели, оно ее организует и вдохновляет. Это движеніе совершается во всѣх сферах культуры: борьба с психологизмом в философіи, с «богочеловѣчеством» в богословіи, с сентиментальностью (т. е. с состраданіем) в общественной жизни — со свободой повсюду, все это не разныя явленія, это одно и то же самосознаніе современнаго человѣка, в его жаждѣ самоуничтоженія. Человѣкъ стал сам себѣ противен до ненависти, до потребности убить себя или, по крайнѣй мѣрѣ, разбить свое отраженіе в зеркалѣ. И когда человѣкъ убит окончательно, или, скажем, когда в нем осталась только мускульная энергія, из прессованных останков людей, все еще горящих энтузіазмом, как из кирпичей, строится новое общество, из мертвых идей строится богословіе (бартіанство), из мертвых звуков — музыка Стравинскаго. Пикассо и Стравинскій в духовном мірѣ значат то же, что в социальном Ленин и Муссолини. Но зачинатели и пионеры — это они, а не политическіе вожди, которые дѣлают послѣдніе выводы в самой послѣдней, т. е. низшей сферѣ дѣйствительности.

Нужно помнить, однако, об огромной силѣ косности, о спасительной некультурности, в которой живет еще человѣчество. Как мало людей вообще читают книги! Еще меньше таких, кто смотрят картины и слушают музыку. Впрочем и в картинах и в музыкѣ массы еще живут в 19 вѣкѣ. Джаз-банд борется с Чайковским, и потому человѣкъ в жизни, обыкновенный человѣкъ, с

которым мы встречаемся ежедневно, бесконечно милые и привлекательные того, который явлен нам в передовом искусстве. Не перевелись еще простые и безкорыстно добрые люди. Больше того, иной раз можно встретить истинно прекрасного человека, перед которым в восторге остановился бы поэт в былое время. Вот девушка, которую Тургенев мог бы избрать своей героиней. Современный писатель подошел, произвел над ней сексуальную вивисекцию и с отвращением отвернулся. Эта девушка, возможно, не хуже Натальи или Татьяны. Но выдержит ли и Татьяна психоаналитический экзамен? Вероятно, самые глубокие изменения в культуре мало затрагивают основную материю человеческой природы. Но она по разному формируется культурным сознанием. Мир Божий еще так прекрасен, — Гете могло казаться даже — как в первый день творения: «ist herrlich wie am ersten Tag». С человеком сложнее. Но, право, и он не так уж подл и в наше время. Но у нас закрылись глаза на красоту мира и на красоту человека. Мы чувствуем только исходящее от человека злое, — и от того так непостижимо трудной кажется в наши дни любовь к человеку. Любить можно и грешного и уродца. Но нужно, чтобы в уродстве и грехе было хоть что-нибудь, чем можно было бы восхититься. Даже кенотическая любовь не лишена совершенно крыльев Эроса.

При таком (небывалом) разладе искусства и действительности, когда подлинник лучше своего отображения, для филантропа, для воспитателя и политика была бы совершенно естественной позиция борьбы с искусством, или по крайней мере оборона от него. Спасти молодые души, еще не отравленные тлетным культурного умирания, от книг, от музыки, от картин, — т. е., конечно, от современных. Запереть, как св. Варвару в башню, среди бессмертных кумиров прошлого. Зачем Пикассо, когда есть Микельанджело? Признаться, филантропическое служение современного искусства представляет для меня загадку. На это можно

возразить лишь одно: не спасти Варвару ни в какой башнѣ от таинственных всепроникающих флюидов времени. Не спасти Татьяну от фрейдіанскаго саморазложенія. «Что дѣлаешь, дѣлай скорѣе». Здѣсь, однакоже, мы встрѣчаемся с «законом» реакціи, которая неразлучна с «законом» прогресса.

К счастью для искусства, его движеніе не прямолинейно. Изживая один круг идей, оно возвращается к забытому и далекому, чтобы начать от него путь к будущему. Все революціонно — новое есть поэтому частично возвращеніе, возрожденіе, «реакція». Гуманизм был реакціей, возвращеніем к древности, социальная реакція возвращенія к средневѣковому тоталитарному обществу. Вот почему внук протягивает руки дѣдам — или, увы! прадѣдам — через головы отцов, а самыя отсталыя в данной культурѣ оказываются ближе самым передовым носителям ея.

Эмигрантская молодая литература явно реакціонна. Ея реакціонность проявляется особенно ясно в сопоставленіи ея с безчеловѣчным строительством новаго времени: она не со Стравинским, не с Корбуазье. Ея историческое мѣсто довольно точно опредѣляется именами Пруста и Анненскаго, т. е. началом XX вѣка. Ея связь с искусством крайняго Запада, с Франціей и Англійей, гдѣ искусство всего зрѣлѣе, гдѣ культура всего болѣе отстала в процессѣ разложенія, ведя арьергардные бои на послѣдних оборонительных линіях.

Наше молодое искусство сопротивляется совѣтскому строительству из прессованных человѣческих тѣл. Но оно глубоко, хотя постоянно, ошибается, думая, что оно защищает человѣка. Оно само участвует в разрушеніи человѣка, захвачено процессом умиранія. Отсюда неизбежно скорбный и пессимистическій тон его. Иным он быть не может. Другая позиція или поза была бы поведеніем дурачка в сказкѣ, который пляшет на похоронах. Искусство не может быть иным, чѣм оно есть. Оно наиболѣе бессознательное, наименѣе разумно-волевое созданіе человѣка. Есть трагедія худож-

ника — в обреченности его служенія. Все, что он может сдѣлать, как художник, это с наибольшей силой и глубиной выразить свою тему. Там, в послѣдней глубинѣ, гдѣ искусство касается міров иных, там и только там могут открыться и забить ключи новой жизни, нам еще невѣдомой, подлинно «нечаянной радости», когда «в радость воскресенія Твоего плачь преложится».

Мы не можем повѣрить в то, что механизированный коллектив — послѣднее слово нашего человѣчества, что на вѣки вѣков, до Страшнаго Суда, будет стоять муравейник там, гдѣ когда-то бились герои, молились святые, плакали униженные и оскорбленные. Но если возрожденіе придет, — то возможно, — как это бывает всегда, — что послѣдніе окажутся первыми. Реакція сегодняшняго дня может оказаться резервуаром духовных сил дня завтрашняго. Искусство нашего времени — видимо — не несет в себѣ новизны благодатной — возрожденія сил. Оно явно смердит, как четверодневный Лазарь. Но, может-быть, воскресеніе близко. Может-быть, в творческой глубинѣ, неподозрѣваемой самим художником, зрѣет сѣмя новой жизни — то сѣмя, о котором сказано: «Не оживет, если не умрет».

СОПРОТИВЛЕНІЕ СМЕРТИ.

Вѣроятно правы тѣ, которые утверждаютъ, что утративъ вѣру в Бога, современный человѣкъ постепенно зашелъ в тупикъ, стараясь уяснить себѣ міръ и самаго себя. Лишенная точки опоры в высшемъ бытіи, жизнь утратила смыслъ, человѣкъ оказался в безвыходномъ, лично для него рушащемся в моментъ смерти мірѣ, и смерть, — снова непобѣдимая, снова не сдерживаемая никакимъ упованіемъ, вскрыла передъ человѣкомъ пустоту всего. Разорвавъ с Богомъ, человѣкъ, незамѣтно для себя, возстановилъ власть смерти. С этихъ поръ единственной значительной и незапятнанной темой для него сдѣлалась только смерть. Внѣшнее — «формы и краски», жизнь чувственно-осязательная, и связанное с нею: дѣла, подвиги, строительство, изслѣдованіе законовъ природы, чудеса техники — все это стало удѣломъ толпы, низкой темой. лозунгами марширующихъ колоннъ международныхъ активистовъ. Только любовь, раненная, уязвленная смертью, пытается еще сопротивляться. Индивидуальность находитъ свое послѣднее прибѣжище в любви, нѣжность и жалость, смутное ощущеніе братства ближняго и дальняго, помогаютъ ей «держаться на поверхности». Но могила непобѣдима. Слова, звучація надъ свѣжимъ холмомъ, слезы, цвѣты, воспоминанія, «жизнь в памяти» — все это — лишь безсильное призыванье друга, который не придетъ никогда. Гдѣ онъ, кѣмъ онъ сталъ, и какъ примириться с тѣмъ, что смерть существуетъ?

Тема смерти сіяетъ ослѣпительной бѣлизной непорочнаго явленія. И чѣмъ трезвѣе и проще мы глядимъ на окружающій міръ, тѣмъ беспощаднѣе нашъ судъ всему, что в этомъ мірѣ обозначается словами. Бѣлая страница, о которой грезили нѣкоторые поэты, открывается. Искус

искусства, который представлялся нам, как постепенное восхождение по лѣстницѣ Іакова, соединяющей небо и землю, приводит к сознанию его безвыходности, тщетности.

... И все таки поэт прав: единственное, что может выдержать прикосновение смерти — это непонятная, часто противная волѣ, неожиданная мука, тревога по чему то высшему, прекрасному, никогда недостижимому:

— Оставь меня! Мнѣ ложе стелет Скука.
Зачѣм мнѣ рай, которым грезят всѣ?
А если грязь и низость только мука
По гдѣ то там сіяющей красѣ. . .

В тоскѣ по недостижимому, мы населяем мір «образцами творчества» — лживыми демонами. Но вѣдь земля, — то есть все, что мы видим глазами — труп, оставшійся послѣ грѣхопаденья, работа — проклятіе, а творчество *падшаго* потомства Адама и Евы — карикатура на «будете как боги. . .» Вѣдь, послѣ паденья, в людях умер дух, сердце души разрушено, — в падшем, мертвом мірѣ дѣйствуют живыя тѣла и мертвыя души. Смерть, с самага рожденія, незримо присутствует около нас, и дает нам то здѣсь, то там, на секунду, на мгновение возможность чуть-чуть приподнять ея покров. В нас есть какой то осколок прежняго, догрѣховнаго существованія. Что это? Образ Божій, который мы нѣкогда носили в себѣ? Смутный отпечаток довременной красоты міра, который остался в нашей душѣ? Не знаю, как на это отвѣтить? Но человек не имѣет понятія о полной физической смерти. Всѣ состоянія, которыя мы испытываем — лишь тѣнь ея; что же такое полнота смерти, с каким чувством человек входит в нее, если правда, что он существует и послѣ смерти? В русской литературѣ есть только одно полное благословеніе полноты смерти. Это стихи Боратынскаго,

странные и возмутительные. может быть достойные ангела, может быть — недостойные человека:

«Смерть — дочерью тьмы не назову я. . .»

— И вот любовь сопротивляется смерти. Смутная мечта об осуществимости правды, о человеческом отношении к ближнему и дальнему — теперь — то единственное, что осталось еще в мире от «высшего». И как ни ужасна современная действительность, сейчас, в диких, уродливых, часто нелъпых и на первый взгляд рѣзко-антихристианских формах, смутно просвѣчивает возможность — если захотят, если поймут, будущей христианизации мира. Мечта о справедливости, жажда «человѣчности», которая рисуется сейчас массам во всем мире, несмотря на формы, в которых пытаются выразиться эта мечта, в существѣ своем ближе к идеалу христианского устройства общества, чѣм прежнее уединенно-хищническое, частно-собственническое, якобы христианское прошлое.

Но вернемся к личному. Личное положеніе человека в мире теперь особое. Распалось на понятіе «человек» — если бы мы знали, что такое он на самом дѣлѣ, это знаніе не могло бы исчезнуть, — распались наши прежнія иллюзіи в отношеніи себя. Самоувѣренное «я знаю» (вспомним хотя бы научный материализм 19-го вѣка, научно же осмѣянный) замѣнилось неувѣренным вопросом «кто я?» Три ответа: «человек — дух» — отвѣтъ древняго мира, «человек — духо-плоть» — отвѣтъ церковной догматики и «человек — биологія» — отвѣтъ материализма — взяты нами под сомнѣніе, нас не насыщают. Что же мы можем противопоставить смерти, если все — суета, прах, пустыя слова, если все истлѣвает, все разсыпается?

О самих себѣ мы не умѣем сейчас высказать мнѣнія. Человек теперь, больше чѣм когда нибудь, загадка, и сфинкс ждет отвѣта от современнаго Эдипа. Но в нашем распаденіи, в нашем отсутствіи «цѣлостнаго миро-

созерцанія» — пустота, я бы сказал, благодатная, воля — религіозна. Современный человек не хочет основываться на доверіи к авторитетам, он ищет опыта. Он отказывается принять на вѣру себя таким, каким изображают его древнія преданія; он не хочет так же быть рабом новой магіи — науки, он хочет познать себя опытно. Но как познать? Человек знает, что он «ничего не знает» по существу, и не хочет условнаго, фальшиваго благополучія. Он стремится найти язык, на котором можно сказать «самое важное» и отбрасывает стертые формулы, не имѣющія больше для него притягательной силы. Кризис углубляется и расширяется во всѣх областях, но на что то зрѣніе у нас пріоткрылось. Люди что то увидѣли, и не могут успокоиться ни на чем. Какое то неясное видѣніе тревожит всѣх, чуть замѣтный в душѣ контур догрѣховнаго міра как будто вот-вот готов стать явственнѣе. . .

Что же соотвѣтствует мечтѣ, которая тревожит сейчас человечество? Как сможем мы, будучи здѣсь, на землѣ, выразить правду «о новой землѣ и о новом небѣ»? Как, по настоящему, научиться новым словам: «Бог», «человек», «любовь» и что это такое?

Я не знаю. Мы стоим перед будущим, мы живем в эпоху конца стараго и начала новаго міра.

С учениями Федорова Соловьев познакомился через Достоевскаго. В 1878 году народный учитель Петерсон, страстный поклонник Федорова, изложил Достоевскому основныя идеи «Философіи общаго дѣла». Онѣ глубоко его взволновали, и он писал Петерсону: «Мы здѣсь, т. е. Соловьев и я по крайней мѣрѣ, вѣрим в дѣйствительное, буквальное и личное воскресеніе и в то, что оно будет на землѣ».

В началѣ восьмидесятых годов Соловьев в Москвѣ встрѣтился с Федоровым. Сначала он отнесся к нему, как к гениальному чудаку, был поражен необычайным своеобразием его личности, но в его «странныя» идеи до конца повѣрить не мог. Он писал Н. Н. Страхову: «Иногда очень пріятно и забавно бесѣдуем с Н. Ф. Федоровым, который меня совершенно очаровал, так что я даже думаю, что и его странныя идеи недалеки от истины».

Постепенно отношеніе его к автору «Философіи общаго дѣла» мѣняется. Он внимательно изучает рукописи Федорова. «Проект» всеобщаго воскресенія умерших отцов объединенными силами сынов, замысел, дерзновенный до безумія и до какого-то мистическаго ужаса, кажется ему новым откровеніем христіанскаго духа. Он пишет Федорову:

«Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслажденіем духа, посвятив этому чтенію всю ночь и часть утра, а в слѣдующіе два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном. «Проект» Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров: поговорить же нужно не о самом проектѣ, а об нѣкоторых теоретических его основаніях, а также и о первых практических шагах к его осуществленію. . . Пока скажу

только одно, что со времени появленія христіанства Ваш проєкт есть *первое движеніе вперед* челоуѣческаго духа по пути Христову. Я с своей стороны могу только признать Вас своим учителем и отцом духовным».

Ученіе Федорова сводится к положенію: «Объединеніе сынов для воскрешенія отцов». Люди живут в разъединеніи и враждѣ: «гражданственность» замѣнила «братственность», «государственность» вытѣснила «отечественность». «Для нынѣшняго вѣка, пишет Федоров, отецъ — самое ненавистное слово, а сын — самое унижительное». Нужно уничтожить распрю между государствами, народами, классами, нужно создать безклассовое общество, единую семью, братственность. В соціальном смыслѣ ученіе Федорова, пожалуй, радикальнѣе марксизма — и отсюда становятся понятны попытки нѣкоторых его послѣдователей связать «Философію общаго дѣла» с коммунизмом. Но проєкт Федорова перерастает план соціальный и вполне раскрывается только в планѣ религіозном. Цѣль «объединенія сынов» не в земном благополучіи, а в продолженіи дѣла Христа. Всѣ живущіе сыны соединяются для единственной задачи — воскрешенія умерших отцов. «Религія и есть дѣло воскрешенія». Христос своим Воскресеніем указал челоуѣчеству путь и цѣль. В настоящее время духовныя силы людей парализованы враждой и борьбой, но когда они возсоединятся в любви — все им станет возможно. Челоуѣчество будет дѣйствительно владычествовать над землею и управлять стихіями. «В регуляціи, в управленіи силами слѣпой природы, пишет Федоров, и заключается то великое дѣло, которое может и должно стать общим». Тогда смертоносная сила природы сдѣлается живоносною, рожденіе будет замѣнено воскрешеніем, любовь половая — любовью сыновней. Мір должен быть возстановлен силами самого челоуѣчества. «Приготовленіе из цѣлаго челоуѣческаго рода орудія, достойнаго божественнаго через него дѣйствія — есть задача богословов».

Если человечество объединится в любви, не будет катастрофического конца свѣта и Страшнаго Суда. Наш земной мір без потрясеній, эволюціонно превратится в Царство Божіе.

Мы понимаем, почему Соловьев «с жадностью» читал рукопись Федорова. «Братственность» к которой призывал автор «Общаго дѣла» была близка завѣтной идеѣ Соловьева о «положительном всеединствѣ». Он тоже вѣрил, что Царство Божіе осуществится здѣсь на землѣ, как результат единаго богочеловѣческаго процесса, что оно увѣнчает собою религіозное творчество человечества, что весь мір превратится в Церковь, в теократическое царство, в котором Бог будет «всѣм во всем». Федоров говорил о религіи, как о реальной космической силѣ, преображающей вселенную, ставил христіанам грандіозную практическую задачу — всеобщаго воскресенія, подчеркивал значеніе человѣческаго элемента в религіозном дѣланіи, требовал полнаго напряженія человѣческаго творчества — научнаго, техническаго, соціальнаго, богословскаго.

Но при ближайшем знакомствѣ с ученіем Федорова, в долгих бесѣдах с ним, Соловьев смущался и недоумѣвал. Религія Федорова казалась ему слишком натуралистической, его мистицизм иногда напоминал какую-то естественную магію. Воскрешеніе мертвых с помощью научной регуляціи сил природы и техническаго прогресса принимало нерѣдко вид колдовства. Божественное начало в богочеловѣческом дѣлѣ явно заслонялось человѣческой самодѣятельностью. Чудеса техники упраздняли чудо благодати. Покойники вставали из гробов в своих земных тѣлах, получалась дурная безконечность земной жизни, а не преображеніе міра. Проект Федорова давал человечеству власть над прошлым, он дѣлал «бывшее как будто не бывшим», но он не был обращен к будущему. Чѣм-то безконечно древним, языческим, праславянским вѣяло от его культа предков. Ради предков он жертвовал потомками: сыновняя любовь уничтожала половую любовь, воскре-

шеніе отцов — рожденіе дѣтей. Наконецъ, в ученіи Федорова совершенно отсутствовала идея креста и искупленія: у него не было никакой чувствительности ко злу и понятіе грѣха не вмѣщалось в его построеніе.

Свои возраженія и сомнѣнія Соловьев изложил в письмѣ к Федорову. Приведем из него отрывки:

«Простое физическое воскресеніе умерших, пишет Соловьев, само по себѣ не может быть цѣлью. Воскресить людей в том состояніи, в каком они стремятся пожирать друг друга, воскресить человѣчество на стѣпени каннибализма, было бы и невозможно и совершенно нежелательно. . . Если бы человѣчество своей дѣятельностью покрывало Божество (как в Вашей будущей психократіи), тогда дѣйствительнаго Бога не было бы видно за людьми: но теперь этого нѣтъ, мы не покрываем Бога, и потому Божественное дѣйствіе (благодать) выглядывает из-за нашей дѣйствительности и притом тѣм в болѣе чуждых (чудесных) формах, чѣм менѣе мы сами соотвѣтствуем своему Богу. . . Слѣдовательно, в положительной религіи и Церкви мы имѣем не только начатки и прообраз воскресенія и будущаго Царства Божія, но и настоящій (практическій) путь и дѣйствительное средство к этой цѣли. Поэтому наше дѣло и должно имѣть религіозный, а не научный характер, и опираться должно на вѣрующія массы, а не на разсуждающих интеллигентов».

Соловьев почувствовал, что «Общее дѣло» Федорова строится не на мистическом ученіи церкви, а на натуралистическом гуманизмѣ. Но в цѣлом огненный, героическій дух федоровскаго «проекта» плѣнил «проектира» Соловьева. Вліяніе Федорова ускорило его переход к церковно-общественной дѣятельности и к строенію земнаго теократическаго царства.

МИСТИКА ЧЕЛОВѢКООБЩЕНІЯ.

Что самое сомнительное, спорное и неудовлетворяющее во всѣх концепціях «христіанства, обращеннаго къ міру», «соціального христіанства» и тому подобных теченій, выдвигаемых современностью? Это их вторичность, их несоизмѣримость с идеей христіанской жизни, понимаемой как Богообщеніе. «Второй сорт», — нѣчто прикладное, придаточное, не плохое само по себѣ, но и не обязательное, — и уж во всяком случаѣ не могущее исчерпать полноту христіанской жизни. А то, другое, первосортное христіанство исчерпывает все, потому что оно ориентировано на подлинную духовную жизнь, т. е. на Богообщеніе.

В такой характеристикѣ есть несомнѣнная доля правды, потому что всѣ нам извѣстныя теченія соціального христіанства базируются на нѣкоем раціоналистическом гуманизмѣ, примѣняют лишь принцип христіанской морали къ «міру сему» и не ищут духовнаго и мистическаго обоснованія для своих построеній. Чтобы сдѣлать соціальное христіанство не только христіанобразным, а дѣйствительно христіанским, надо найти еще одно измѣреніе для него, вывести его из плоскостной душевности и из двухмѣрнаго морализма в глубину многомѣрной духовности. Надо обосновать его мистически и духовно. Мнѣ кажется, что это совпадает как раз с тѣм, что должно и может сказать православіе, еще не высказавшееся в этой области, — оно даст углубленіе католическим и протестантским попыткам повернуть христіанскій лик къ міру.

Можно наблюсти замѣчательное подобіе крайностей в отношеніи вопроса о мірѣ. С одной стороны, люди міра отгорожены по существу от міра непроходимой

стѣнной. Как бы они ни предавались радостям міра, в какой бы суетѣ они ни жили, — в их сознаниі всегда непроходимая пропасть: «я» и мір, который мнѣ служит, меня развлекает, меня печалит, утомляет и т. д. Чѣм эгоистичнѣе, т. е. чѣм обмірщеннѣе человекъ, тѣм болѣе он отрѣшен от подлинной жизни міра, тѣм болѣе мір для него — нѣкій неодушевленный комфорт или нѣкая неодушевленная пытка, которымъ противопоставляется его единственно одушевленное «я». Если он любит мір, — науку, искусство, природу, семью, друзей, политику, — то это то, что можно назвать похотливой любовью, — «моя семья», «мое искусство», «моя природа», «моя политика». Во всем этом проявляюсь, воплощаюсь, отражаюсь, осуществляюсь единый непомерный «Я». В этом отношеніи к міру существуют самыя неодолимыя, высочайшія стѣны, отдѣляющія человека от человека, от природы, от Бога. Можно смѣло сказать, что наиболѣе мірской человекъ наиболѣе разобщен с жизнью міра. Но и в христіанствѣ, там, гдѣ должны были бы звучать обѣ заповѣди, данныя Богом, — о любви к Богу и о любви к человеку, — мы часто наталкиваемся на такое же отдѣленіе от человека и от міра. Казалось бы, христіанин не может сказать: «я люблю Бога, а потому человекъ мнѣ безразличен». Сурово отвѣчаетъ ему Апостолъ Іоаннъ: «Лицемѣръ, как ты можешь любить Бога, котораго не видѣлъ, если презираешь брата своего, который около тебя»? Но если так оно и не говорится, то все же есть извѣстная возможность на основаніи любви к Богу уцѣрбить любовь к человеку. Любовь к Богу, — это главное и единственное. Все остальное, — только «послушаніе», только подѣлка», которая ни в коем случаѣ не должна умалять главнаго. Получается так, что у человека есть свой монастырь, — в его духѣ, за высокими бѣлыми стѣнами. Там он пребывает в полнотѣ и чистотѣ Богообщенія и оттуда в порядкѣ нѣкотораго снисхожденія, нѣкотораго патронированія спускается в грѣшный и страдающій мір. Он выполняетъ свой долг по-

слушанія перед ним, долг, имѣющій очень строгую и четкую границу, — оно не должно нарушать внутренняго ритма его жизни в Богѣ, нѣкоего священнаго комфорта, оно не должно захватить его до самой глубины его духа, потому что в этой глубинѣ почиет Божественная Святая Святых. Жалость, любовь, труд, отвѣтственность за человѣческую душу, жертвенность, — все это обязательные элементы в послушаніи, но для них надо знать мѣру. Им не надо давать захлестывать и расплывать дух. Все это по сравненію с главным не дѣло, а подѣлка. Иначе можно утратить свое «я», расточить его в мірѣ. Оно же, это «я», в извѣстном смыслѣ противостоит міру. Мір, — или он просто во злѣ лежит, или он является патронажем, гдѣ мы упражняем наши добродѣтели — во всяком случаѣ он внѣ «я». Раздѣленіе с міром происходит тут, если и на других принципах, то все же не менѣе полное, чѣм у людей міра. Противоположности сходятся в этом обособленіи «я» от міра.

Тут надо оговориться, что есть, конечно, работа, которая и по существу может быть названа подѣлкой. Когда отшельники плели циновки и лѣпили горшки, — это была подѣлка. Когда мы чистим картошку, штопаем бѣлье, подсчитываем расходы, ѣздим на метро, — это тоже подѣлка. Но когда древніе монахи в видѣ послушанія погребали мертвых, ухаживали за прокаженными, проповѣдывали падшим женщинам, обличали неправедную жизнь, творили милостыню, — это была не подѣлка. И когда нам приходится дѣйствовать в нашей современной жизни, — навѣщать больных, кормить безработных, учить дѣтей, общаться со всѣми видами человѣческаго горя и человѣческаго паденія, имѣть дѣло с пьяницами, с преступниками, с сумасшедшими, с унывающими, с невѣрующими, с опустившимися, — со всей духовной проказой нашей жизни, — это не подѣлка, — и это не только дань послушанію, имѣющему границы в нашем главном внутреннем дѣланіи, — а это само внутреннее дѣланіе, это неотдѣли-

мая часть нашего главнаго. Чѣмъ больше мы выходим в міръ, чѣмъ больше отдаем себя ему, тѣмъ менѣе мы от міра, потому что мірское себя міру не отдает.

Попробуем обосновать это богословски, духовно и мистически. Великим и единственным Подвигоположником мірского дѣланія был Христос, Сын Божій, сошедшій в міръ, воплотившійся в міръъ весь, цѣликом, без всякаго как бы резерва для своего Божества. Соблюдал ли Он свое Божество и Себя? Был ли Он только Отцовым Послушником в міръъ? В своем мірском послушаніи Он истощил Себя, и Его истощаніе есть единственный примѣръ для нашего пути. Бог, ставшій младенцем, Бог, спасавшійся в Египтъ от Ирода, Бог, искавшій среди міра себѣ друзей — учеников, Бог, плакавшій из глубины своего Духа о Лазарѣ, обличавшій фарисеев, говорившій о судьбѣ Іерусалима, изгнанный бѣсов, исцѣлявшій больных, воскрешавшій мертвых, наконец, самое главное, — отдавшій свою плоть и кровь в снѣдь міру, вознесшій свое тѣло на крест посреди двухъ разбойников, — когда и в какую минуту своим примѣромъ учил Он нас о внутренних стѣнах, отгораживающих нас от міра? Всѣм своим Богочеловѣчествомъ был Он в міръъ, а не какими-то вторичными своими свойствами. Он не соблюдал Себя, а расточал. «Сіе есть тѣло Мое, за вы ломимое», т. е. расточаемое. «Сіе есть кровь Моя, за вы изливаемая», — вся до конца изливаемая. В Таинствѣ Евхаристіи Христос отдал Себя, Свое Богочеловѣческое Тѣло міру, — или иначе, Он сочетал міръ в пріобщеніи этому Богочеловѣческому Тѣлу, Он сдѣлал его Богочеловѣчествомъ. И звучало бы почти кощунствомъ всякое стремленіе выдѣлать какого-то внутренняго глубиннаго Христа, который остался чуждъ этому Богочеловѣческому жертвоприношенію. Христова любовь не умѣет себя мѣрять и дѣлать, не умѣет беречь себя. Христос и Апостолов не учил такой бережливости и оглядкѣ в любви, — и не могъ учить, потому что они были пріобщены им Его Евхаристической жертвѣ, стали Тѣломъ Христовым, —

и этим самым были отданы на закланіе міру. Тут нам нужно только учиться и дѣлать выводы. Можно сказать парадоксально, что в смыслѣ отдачи себя міру Христос был самым мірским из всѣх сыновей Адамовых. Но мы уже знаем, что мірское себя міру как раз и не отдает.

Думается, что эта отдача себя міру у Христа, создавая единое Тѣло Христово, Богочеловѣчество, — наиболѣе полно понимается в православной идеѣ «соборности». И соборность, — это не только нѣкое отвлечение, с одной стороны, — и не только нѣкая высшая реальность, не имѣющая внутренняго касательства к составляющим ее отдѣльным человѣческим личностям, — с другой стороны. Она высшая реальность, поскольку каждый ея член, — член Тѣла Христова, — полностью и полноцѣнен, поскольку он та «душа, которая стоит міра». Каждый человѣкъ, с момента первых ветхозавѣтных откровеній явленный нам, как образ Божій, во Христвѣ еще сильнѣе и конкретнѣе раскрывает эту свою причастность Богу. Он дѣйствительно образ Божій, образ Христов, икона Христова. Кто послѣ этого может разграничить в человѣческой душѣ мірское и небесное, кто может сказать, гдѣ кончается образ Божій и начинается дебелость человѣческой плоти? Общаюсь с міром в лицѣ каждаго отдѣльнаго человѣка, мы знаем, что общаемся с образом Божиим, и созерцая образ, соприкасаемся с Первообразом, — общаемся с Богом. Есть подлинная и по настоящему православная мистика не только Богообщенія, но и человѣкообщенія. И человѣкообщеніе в этом смыслѣ есть просто иной вид Богообщенія. Общаюсь с людьми, мы общаемся не только с нашими единомышленниками, друзьями, единовѣрцами, подчиненными, начальством, — наконец не только с матерьялом для наших упражненій в послушаніи и любви, — мы общаемся с самим Христом. И только своеобразным раціонализмом по отношенію к этому явленію и пребыванію Христа в мірѣ можно объяснить неумѣніе встрѣтить Его в самой

суетѣ, в самой глубинѣ человѣческаго паденія. Тут на самом дѣлѣ рѣчь идет не только о символѣ встрѣчи, и даже не о самой встрѣчѣ со Христом, — актѣ, ограниченном во времени, — а о том, чтобы реально чувствовать свою неразрывную связь с Тѣлом Христовым, чтобы все время быть во Христѣ, неразрывно сочетать себя с Ним в Его Богочеловѣческом пребываніи в мірѣ. Как он предвидѣлъ наше раціоналистическое и горделивое маловѣріе, когда пророчествовал о том, что люди на его обличеніе будут недоумѣнно спрашивать Его: «Господи, когда же мы не посѣтили Тебя в больницѣ или тюрьмѣ, когда мы отказали Тебѣ в чашѣ воды»? Если бы они могли вѣрить, что в каждом нищем и в каждом преступникѣ к ним обращается Сам Христос, они бы относились к людям иначе. Но в том то и дѣло, что наше человѣкообщеніе в большинствѣ происходит лишь в плоскости земных встрѣч и лишенно подлинной мистики, которая дѣлает его Богообщеніем. Нам же совершенно реально дана возможность, общаясь в любви с человѣчеством, с міром, чувствовать себя в подлинном общеніи со Христом.

И из этого дѣлается совершенно ясным, каково должно быть наше отношеніе к людям, к их душам, к их дѣлам, к человѣческой судьбѣ, к человѣческой исторіи в цѣлом. Священник во время Богослуженія кадит не только иконам, изображающим Спасителя, Божию Матерь и святых. Он кадит также иконам, людям, образу Божию в людях. И выходя за предѣлы храма, эти люди остаются такими же образами Божиими, достойными кажденія и поклоненія. Наше отношеніе к людям должно быть подлинным и глубинным Богослуженіем.

Есть в православіи понятія, привлекающія наше сердце, но не всегда нам ясныя, не до конца раскрытыя. Нам нравится, когда говорят об оцерковленіи жизни, но мало кто понимает, что это значит. В самом дѣлѣ, чтобы оцерковать жизнь, надо ли посѣщать всѣ церковныя службы? Или повѣсить в каждой комнатѣ

икону и зажечь лампаду? Нѣтъ, очерковленіе жизни есть ощущеніе всего міра, как единого храма, украшеннаго иконами, которым надлежит поклоняться, которыя надлежит чтить и любить, потому что эти иконы, — подлинныя образы Божіи, на которых почіет святость Бога Живого.

Так же плѣнительно, хотя и загадочно для нас выраженіе «внѣхрамовая литургія». Храмовая литургія и слова, которыя в ней произносятся, дают нам ключъ къ раскрытію этого понятія. Мы слышим: «Возлюбим друг друга, да единомысліем исповѣмы». И дальше: «Твоя от Твоих, Тебѣ приносяще, о всѣхъ и за вся». Эти «други», которыхъ мы в единомысліи возлюбимъ в храмѣ, они и внѣ храма работаютъ с нами, радуются, страдаютъ, — живутъ. И тѣ, кто Его и от Него, Ему приносяще о всѣхъ и за вся, — они дѣйствительно «всѣ», т. е. всѣ возможныя и на нашемъ пути встрѣчи, всѣ намъ Богомъ посланные люди. Стѣна храма не отдѣлила какое-то малое стадо отъ этихъ всѣхъ. С другой стороны, мы вѣримъ, что Евхаристическое тайнодѣйствіе приноситъ жертву за грѣхи міра Агнца Божія, тѣло Христова, и мы, пріобщенные этому жертвенному тѣлу, сами становимся Тѣломъ Христовымъ, — т. е. какъ бы принимаемъ и назначеніе такое же, какъ назначеніе Тѣла Христова, — становимся отданными на жертву, — «отъ всѣхъ и за вся». В этомъ смыслѣ внѣхрамовая литургія и есть наше жертвенное служеніе в храмѣ міра, украшеннаго живыми иконами Божіими, служеніе общее, всечеловѣческое жертвоприношеніе любви, великое дѣйство нашего Богочеловѣческаго единенія, единое молитвенное дыханіе нашего Богочеловѣческаго духа. В этомъ литургическомъ человѣкообщеніи мы причащаемся и Богообщенію, мы дѣйствительно становимся едино стадо и единъ Пастырь, едино тѣло, неотдѣлимая глава котораго — Христосъ.

Чтобы все было яснымъ, надо сдѣлать еще нѣсколько оговорокъ. Только при такомъ подходѣ къ міру и къ человѣку не можетъ быть рѣчи о томъ, что міръ насъ разсѣиваетъ.

ет, человек поглощает нашу сосредоточенность своей суетой. Это наша собственная грѣховная разсѣянность нас разсѣивает, и собственная грѣховная суета поглащает нашу сосредоточенность. Мы получаем от міра и от человека то, что мы в них расчитываем получить. Мы можем получить неудобнаго квартирнаго сосѣда или слишком веселаго собутыльника, или капризнаго и непонятливаго ученика, или надоѣдливых дам, или опустившихся пропойц. И общеніе с ними нас только утомит физически, раздражит душевно, притупит духовно. Но мы можем получить в человѣческом Христовом образѣ пріобщеніе к тѣлу Христову. Если правильно и духовно-углубленно подойти к міру, то нам придется не только давать ему от нашей духовной скудости, но бесконечно больше получать от живущаго в нем Лица Христова, от общенія со Христом, от сознанія себя частью Христова Тѣла.

И мнѣ кажется, что только эта мистика человѣкообщенія есть единая и подлинная духовная база для всякой внѣшней христіанской активности, — для еще в этом смыслѣ не родившагося соціальнаго Христіанства, христіанства, обращеннаго к міру и т. д. Соціальное дѣланіе должно быть такой же внѣхрамовой литургіей, как всякое наше общеніе с человеком о имени Христовом. В противном случаѣ, даже базируясь на христіанской морали, оно будет лишь христіанообразным, по существу вторичным. Все в мірѣ может быть христіанским только в том случаѣ, если проникнуто подлинным трепетом Богообщенія, доступнаго и на путях подлиннаго человѣкообщенія. Но внѣ этого основнаго нѣтъ подлиннаго христіанства.

Таковы, мнѣ кажется, трудныя требованія, которыя должно предъявить христіанство ко всѣм попыткам христіанскаго строительства жизни.

СКУКА

Есть слова — не то, что логическій смысл потерявшія, а как-бы переставшія быть — музыкально. Как в дѣтствѣ: повторяешь одно слово безконечное количество раз («дверь» наприимѣр, — «дверь, дверь, дверь») до тѣх пор, пока оно не становится бессмысленным. Вмѣсто звука, вызывающаго чувство-мысль — сухой треск. Не удар по клавишам — стук пальцев по столу. Игра, забавлявшая в дѣтствѣ, теперь кажется жуткой, от того, что возможно такое «самоубійство». Не только в общеніи — каждый, даже для себя забыл (рѣдко помня, что забыл) «музыку» многих, привычных и удобных слов.

Одно из таких — едва-ли не первое — «скука».

Скучно, скучаем, скучныя книги, люди, скучающій взгляд, скучнѣйшія дѣла — что это значит? Для всѣх — не знаю. Для себя (вспоминая, что забыто) медленно выясняю. Думаю, что «для себя» это, тѣм самым, для «каждаго в себѣ».

Опредѣленію «она» не поддается. Состояніе — какое? Качество — чего? Не знаю. Еще приходит на ум: на других языках (кажется) нѣтъ точнаго перевода этого слова. Если то-же по смыслу, то все-таки, «обертонны» слов «скука» или «скучно» не тѣ. Не значит это, что понятіе скуки — русское. Вѣрнѣе, существованіе такого слова — попытка назвать то, что по матеріи своей безымянно. И сложно, и элементарно до неуловимости.

Избѣгая опредѣленія — но как-бы в результатѣ неудачных попыток найти исчерпывающее — заключаю: скука — прежде всего *начало*. То — с чего, от чего... конечно — осознанная, как бы вслух произнесенная скука. В первую минуту неловко и чуть-чуть страшно

(впечатлѣніе, как от неожиданно-громкаго слова послѣ долгаго молчанія).

Потом ясно: если скучно, то как-же быть?

Человѣкъ (и жизнь человѣчества) измѣряется этимъ понятіемъ: качеством, длительностью, причиною и исходомъ скучанія. . .

К каждому хочется обратиться — (перефразируя Ахматовскіе стихи):

«Разскажи, как с тобой скучают,
Разскажи, как скучаешь ты».

Если даже (гипотеза) скука нѣчто вполне определенное, — есть все-же для всѣхъ очевидныя «плоскости», в которыхъ она проявляется.

Первая, «бытовая» — т. е. навязанная извнѣ. Перевод такого рода «скучно» на обывательскій жаргонъ: «нечего дѣлать». Этой — подвержены всѣ безъ исключенія — различіе только в соприисутствующихъ настроеніяхъ. Лучшее мѣсто для наблюденій, кажется: вокзалы, поѣзда, (даже метро). Чѣмъ заполняютъ эти часы (дни или минуты) законно-бездѣльные? . . «Матерія» человѣка оказывается даже в манерѣ невольна и открыто скучать.

Неудачно выраженіе «убивать время»: именно такъ оно необычайно оживаетъ. Одни «измѣряютъ» его — шагая по платформамъ, коридорамъ, читая — просто или с конца к началу вывѣски. Другіе его игнорируютъ — играя (карты и проч.), читая «вагонные» романы (какое признаніе скуки, если для нея существуетъ цѣлое литературное производство!?) Бываютъ разговоры. Здѣсь люди спокойныя, увѣренныя и или наивно-счастливыя, разсказываютъ, слушаютъ. Спорятъ, разсуждаютъ (часто не замѣчая собесѣдника) люди с какой-нибудь

умственной или душевной «маніей». — Даже со скуки так разговаривать можно только о вѣчно-сверлящем...

Есть и такіе, что молча и долго «курят ни о чем» — эти знакомы с ней болѣе близко и длительно.

В другой плоскости скука обуславливается не только «локальными», хотя все еще внѣшними причинами. Перевод здѣсь: вмѣсто «нечего дѣлать» — не для чего дѣлать. Коротенькое «для», разсѣкая слово, заключает в себѣ весь ужас такого состоянія. Непосредственно дѣла может быть сколько угодно (каждый знает как много срочнаго в любое время) — но — руки связаны ощущеніем ненужности в конечном счетѣ. «Конечный счет» совсѣм не философскаго свойства — скорѣе соціального, если допустимо здѣсь такое слово.

Примѣр такого, почти физическаго, лѣнливо-распущеннаго у одних, суховато-стойкаго у других, скучанія — мы, эмигранты. Чувствую, что затрагивая этот вопрос, перехожу как-бы в другую тональность. Все-таки: для меня «эмигрантскій молодой человѣкъ» — прежде всего человѣкъ *скучающій*, хотя-бы только общественно, но уже непоправимо-скучающій. Чѣм он сильнѣй, умнѣй, здоровѣй — тѣм болѣе трагически и все углубляя скучающій... Это естественно: всякое «дѣло» интересно только если оно является *продолженіем*, — если присутствует в нем живая память о началѣ и концѣ. В этом его *смысл* — двигатель жизни дѣйственной. Наши «дѣла» или романтично-безконечны, или унизительно — «однодневны». Сегодняшній день скучен по природѣ. Значительно, любопытно, весело, интересно — относится к ощущенію «завтра» и «вчера» в каждом данном мгновеніи.

Мы-же живем как-бы в отрѣзкѣ времени, в отрѣзкѣ общества, и только біологически дѣлаем то, что люди в нормальной обстановкѣ дѣлают и соціально. Зарабатываем и тратим деньги, читаем и пишем, создаем и разрушаем семью и т. д. . .

Для нас «скучно» слово скорѣе страшное, чѣм стыдное.

Наконец — (пишу: наконец, и думаю: быть-может, то, о чем впереди, совсѣм, и далеко не послѣднее...) о той скукѣ, которая ничѣм внѣшним и общим не опредѣляется. Как-бы скучаніе безотносительное. В жизни оно почти не проявляется, часто даже помогает, толкает «дѣйствовать».

Не знаю — рождается-ли с этим человѣк, или это приходит постепенно — всегда неожиданно, всегда безвозвратно... Во всяком случаѣ это одна из первых «физиологических мыслей», которыя стоит додумать. Здѣсь, «скучно» — сугубо-индивидуально и ни на какой общій язык не переводимо.

На днѣ ея самое тяжкое испытаніе человѣка. Когда образуется пустота в груди и тишина в головѣ (как бы остановка в непрерывно-работающем сознании), постепенно возникает та необычайная прозрачность чувств и мыслей (рѣдких), с которых собственно и начинается настоящее, творческое — не приблизительное, а приближающее. Это состояніе называется скукой. Первый раз похоже на головокруженіе, или на то чувство, которое испытываешь, проснувшись от внезапной остановки в ночном поѣздѣ. В наступившей тишинѣ странно-отчетливы предметы, в полумракѣ, каждое — шопотом — слово. Впечатлѣніе слегка жуткое и долго потом боишься такого неизбежнаго перебоя внутренней машины, в глубинѣ заведенной (чѣм угодно — мыслью, впечатлѣніем, вѣрой, влюбленностью...). Неизбежнаго, потому, что за первым — второй и третій раз — и все длительнѣй головокруженіе, ощущимѣй пустота, колнѣе тишина. Приходят такія минуты как-бы в полном противорѣчій с жизнью человѣка: за внимательным чтеніем, во время напряженнаго разговора, часто за интересным дѣлом, даже в любви — рукопожатіе, слово, поцѣлуй могут вызвать такое головокруженіе (послѣ чего неловко смотрѣть друг-другу в глаза). Самое яркое скучаніе невѣроятно совпадает с предпослѣдней минутой в достиженіи цѣли. Когда ясно, что «возможно «или-же» рѣшено,» по всему тѣлу волной

проходит «скучно» — не только то, к чему лихорадочно стремишься — а все вообще — до и послѣ. . . «ничего уже не значит, что задача рѣшена».

Позднѣе, такое состояніе перестает быть новым (привыкают и к этому). Тогда начинается настоящая борьба со скукой. В этом как-бы заданіе человѣку, загадка его для других: до чего он доскучается, и доскучается ли вообще?

Первый шаг (как во всем) — преодоленіе стыда и страха. Не может-быть стыдно, потому что скучать высоко-человѣчно — хотя:

«. . . так скучать, как я теперь скучаю,
Бог милосердный людям не велѣл».
(Г. Адамович).

Все-же, только в таком скучаніи возникшее — цѣнно.

Все «вѣчное», за всѣ годы человѣческой мысли, должно-быть и было послѣмыслием к основному: «скучно жить на этом свѣтѣ». Америки (во всѣх смыслах), вѣроятно, открывались именно скучающими людьми.

Кто-то сказал, что скука — самое не-творческое состояніе. Думаю, что сказавшій давно не «слышит» этого слова. В глубинѣ ея только и возможно то творчество (еще одно — «остывшее» слово), которое напряженностью своей перебрасывает «ток» в чужое сознание, чужую жизнь.

Лучшіе стихи вовсе не вдохновенные — сумеречные они, тихо-скучающіе. . . (даже без примѣси «поэтической грусти» или «метафизической тоски»).

О любви (опять — «убитое» слово): пока не стало впервые скучно — нѣтъ ея, настоящей. В скучаніи сгорает то, что поддается лучам жизни, послѣ этого в «несгораемой» связи возможно «творимое» и «творящее» отношеніе к человѣку — рождается мечта о нем, которая как-бы тянет за собой его судьбу. . .

Ни думать, ни любить, ни писать нельзя, когда все кругом «звучит», когда тѣло проникнуто дрожью — глаза ищут и ждут — оставаясь слѣпыми. . .

Скука — зрячая. Скука — ясновидящая.

Страх скуки. Здѣсь, лучше всего о себѣ. Приближеніе ея всегда чувствую, всегда неизмѣнно боюсь, как знакомой болѣзни — всегда послѣ вспоминаю о ней, как о лучшем, что было в жизни. Самые свѣтлые часы — часы глубокаго, безысходнаго скучанія. Лѣтом — (время какой-то тѣлесной скуки) она залог отдыха — не только физическаго. Сумерки — если привыкнуть к ним — дать выкристаллизоваться чистой скукѣ — время тишайшей доброты мысли. Скучные дни — тѣ, в которые дѣлалось (благодаря инстинктивному отбору) самое нужное, полезнѣйшее дѣло, говорились скупыя, простыя, вѣскія слова. Книги, за которыя скучно было приниматься — тѣ, от которых осталась как-бы память о взаимном напряженіи — о взволнованном сопротивленіи. Наконец, люди по настоящему близкіе — тѣ, с которыми изжит період совмѣстнаго скучанія.

Если не стыдиться, не бояться скуки — исчезает необходимость борьбы — безплодной и утомительной. . . «Один китаец сказал, что всѣ китайцы лгут» — приходит на ум: «значит, когда закончится борьба со скукой, станет еще скучнѣе?» — Не знаю, не имѣя исчерпывающаго опыта. Но, кажется мнѣ, — в покорной независимости от нея рождается настоящая власть — если не над жизнью (всегда ускользающей), не над смертью (всегда невѣроятной и все-таки реальной), то над собственным отношеніем к тому и другому. Как-бы власть над умствующей совѣстью.

Есть выраженіе: «сѣрая скука». Сѣрое, все-таки, какая-то гармонія — чернаго и бѣлаго (кажется) в правильной пропорціи. . .

По существу, тема скуки — глубоко-поэтическая. Поэтическая в том смыслѣ, в котором слова и разсужденія о ней остаются только словами и разсужденіем.

О том, как в одиноком, будничном, упорном скучаніи постепенно теряешь ощущеніе своего навязчиваго «я» — пока, наконец, — в новой пустотѣ не возникнет высокая неразборчивость вниманія — ко всему, не поразит ясностью то, о чем в прошлом только недоумѣніе (как рыбка, в маленьком домашнем аквариумѣ, — блеснет и исчезнет, тоненькая «истина») . . . О том, как в невольном общеніи (от «нечего дѣлать») с всегда мертво-декоративной природой — вдруг начинаешь видѣть умную, четкую ея красоту. . . О многом другом хотѣлось-бы написать поэму. Невозможно это, потому-что напряженно-спокойная музыка ея слышна только под «наркозом» скуки. Угадать «дозу» очень, трудно. . .

Или же нарисовать ее: кресло — окно, открытое в безконечно-бѣлыя сумерки — никого; книга, неразрѣзанная — сѣдые от сухости цвѣты в вазѣ — ничего. Сдержанный полет во всем. . .

Еще можно было бы написать «Мой роман со скукой». Длинный, психологически-углубленный разсказ — о первой встрѣчѣ, первом сопротивленіи, первой потерѣ, послѣдней благодарной памяти.

Каждый мог-бы, и для cadaго (в слегка искусственном освѣщеніи, конечно) это была бы «вѣрнѣйшая» повѣсть о самом себѣ.

Об этом не пишут. Страшно об этом писать. . . что останется человѣку, сумѣвшему сказать о тайно-пустыющем, стыдном и свѣтлом?

АВТОР, ГЕРОЙ, ПОЭТ.

Мой плѣнникъ вовсе не любезен, —
Онъ хладен, скучен, бесполезен. . .
Все такъ, но Плѣнникъ мой не я.
Напрасно я. славил. . .
Дидло плясать его заставил.
Мой плѣнникъ слѣдственно не я.

Этот набросок Пушкина принадлежит к той порѣ, когда балетмейстер Дидло поставил на сценѣ балет, передѣланный из «Кавказскаго Плѣнника». Повидимому, Пушкин намѣревался в полу-шутливой формѣ возразить против отождествленія его личности с личностію его героя: намѣреніе, разумѣется, отвѣчающее истинѣ, но — лишь в извѣстной степени. Не в стихах, предназначенныхъ для печати, а в частном письмѣ Пушкин писал: «Характер Плѣнника неудачен; это доказывает, что я не гожусь в герои романическаго стихотворенія».

Из всѣх пушкинскихъ героев наиболѣе похожи на самого автора Кавказскій Плѣнникъ, Алеко и Евгеній Онѣгин. Но первые два поставлены в вымышленныя бытовые условія. Онѣгин показан в той самой обстановкѣ, в которой жил Пушкин. Порою эта обстановка приближается к дѣйствительности весьма близко — таково описаніе петербургской жизни Онѣгина в первой главѣ; порою дѣйствительность воспроизводится в романѣ с совершенною точностью: «В четвертой главѣ «Евгенія Онѣгина» я изобразил свою жизнь», говорит Пушкин. Именно совпаденіе бытовыхъ условій привело к тому, что из всѣх пушкинскихъ героев Онѣгин наиболѣе похож на автора.

Как бы ни было велико бытовое и психологическое сходство Онѣгина с Пушкиным, все-таки мы не можем

поставить знак равенства между героем романа и его автором. Главное препятствие здѣсь, однако, вовсе не то, что исторія Онѣгина не совпадает с исторіей самого Пушкина. Если бы онѣ даже совпадали, между Онѣгиным и Пушкиным сохранилось бы то различіе, которое мы ощущаем явственно.

Прочитав первую главу романа, А. Бестужев писал Пушкину о его героѣ: «вижу человека, которыхъ тысячи встрѣчаю на яву». Поскольку Пушкин дѣйствительно был одним из этих тысяч тогдашних молодых людей, отмѣченных, по его собственному выраженію, «равнодушіемъ к жизни» и «преждевременною старостію души», Бестужев был прав. Но дѣло все в том, что «Евгеній Онѣгин» написан не Евгеніем Онѣгиным, а Пушкиным. В Пушкинѣ был заключен Онѣгин, но Онѣгин не вмѣщалъ в себѣ Пушкина. Онѣгин по отношенію к Пушкину есть многоугольник, вписанный в окружность. Вершины его углов лежат на линіи окружности: в нѣкоторых точках Онѣгин, автобіографическій герой, так сказать, простирается до Пушкина. Но площадь круга больше площади вписаннаго многоугольника: $\text{П} > \text{О}$. Слѣдственно

$$\text{П} = \text{О} + \text{х}.$$

Рѣшеніе этого уравненія подсказывается само собой:
 $\text{х} = \text{Поэт}$:

$$\text{П} = \text{О} + \text{Поэт}.$$

В болѣе общем видѣ эта формула может быть замѣнена другой:

$$\text{А} = \text{Г} + \text{П},$$

в которой А — автор, Г — герой, П — поэт.

* * *

*

Онѣгин не написал бы «Евгенія Онѣгина» не только потому, что не мог «отличить ямба от хоря». Причина здѣсь в том, что меж ним и Пушкиным есть глубочайшее субстанціональное различіе. Его жизнь под пером Пушкина вырастает в поэтическое произведение. Онѣгин стимулирует творчество Пушкина, но сам по себѣ он существо нетворческое. В этом и заключается его коренное отличіе от Пушкина. Выше приведенная формула здѣсь получает подтвержденіе. Сложеніе повѣряется вычитаніем. Каждое из двух слагаемых равно суммѣ без другого слагаемаго: $\Gamma = A - П$. Иными словами — Герой есть Автор минус Поэт: Автор, лишенный своего поэтического, творческаго начала.

Увеличивая число сторон вписаннаго многоугольника, мы увеличиваем его площадь, приближая ее к площади круга. По мѣрѣ того, как увеличивается число точек совпаденія между Героем и Автором, разница между ними уменьшается. Теоретическая геометрія допускает опредѣленіе окружности, как многоугольника, имѣющаго безконечное множество сторон. В теоріи Герой может стать Автором, как площадь многоугольника может стать равна площади круга. Однако, это произойдет лишь при *безконечном* увеличеніи числа сторон многоугольника. Такое увеличеніе математически мыслимо, но практически неосуществимо. Герой никогда не дорастает до Автора, как площадь многоугольника не сравнивается с площадью круга. Чтобы стать Автором, он, согласно первой формулѣ $A = \Gamma + П$, должен присоединить к себѣ второе слагаемое — Поэта, т. е. творца, художника.

Сколько бы Герой ни изображал свою жизнь, какой бы полноты и правдивости не достиг он при этом, его произведение не станет поэтическим (в широком смыслѣ этого слова), если он от природы лишен поэтическаго начала или если сознательно рѣшил это начало отбросить. Отсюда — неизбѣжная неудача всѣх попыток подмѣнить художественное творчество человѣческим документом. В человѣческом документѣ Герой

как будто равняется Автору, но это равенство — кажущееся и ложное. Автор человеческого документа есть А — П, то-есть существо нетворческое, то-есть все тот же Герой. Между ним и дѣйствительным Автором — пропасть, незаполняемая совпадением наименований. Он — автор лишь в том смыслѣ, что механически записывает мысли и чувства Героя. В нем творчество либо сознательно замѣнено исповѣдью — тогда мы имѣем дѣло с заблуждением, с художественной ересью, напоминающей скопчество, либо оно есть слѣдствие писательскаго зуда, и тогда перед нами простое самозванство, опять же — либо произвольное, приближающееся к графоманіи, либо злостное. Случаи самозванства (произвольнаго или злостнаго) встрѣчаются чаще, чѣм случаи принципиальнаго отказа от творчества. На путь самозванства вступают люди, в которых вычитаніе А — П произведено самою природой: по-просту говоря, люди, лишенные дарованія. От природнаго недостатка своего они страдают, тщательно скрывая его от других и в особенности от самих себя. Это страданіе достойно сочувствія, но цѣнность их произведеній от того не повышается.

* * *

*

В процессѣ творчества Автор распадается на составныя части своего существа — на Поэта и Героя: на творца и тварь. Поэт создает мір произведенія. Герой есть Адам, человекъ этого міра. В исторіи Героя Автор глазами Поэта созерцает свою человѣческую исторію. Человѣческія чувства, мысли и страсти отданы Герою. Эти чувства, мысли и страсти влекут Героя на путь страданій, грѣха и смерти, которым Поэт в своем творческом покоѣ остается чужд. Так в самом Авторѣ страдает, грѣшит и подпадает смерти Герой, человекъ, но не Поэт. «Преждевременною старостію души» болѣет Онѣгин, заключенный в Пушкинѣ, но не Поэт. Уми-

рает Вертер и за собой увлекает десятки маленьких Вертеров, разсыянных по Европѣ, но остается жив Гете.

Если $A = G + P$, то $P = A - G$: Поэт есть обезчеловѣченный Автор. Проблематика жизни составляет удѣл Героя и разрѣшается Автором в его исторіи. Для Поэта существуетъ лишь проблематика творчества. Герой, посланный в жизнь Поэтом, страдает и умирает, как солдат на полѣ сраженія. К Поэту и в этом случаѣ примѣнимо то, что сказано о нем в ином смыслѣ и по иному поводу:

А стихотворецъ... с кѣм же равен он?
Он Тамерлан иль сам Наполеон.

Герой есть пушечное мясо поэзіи. Поэт созерцает его судьбу безтрепетно. Сверхчеловѣкъ, олимпіецъ, демон, — Поэт лишенъ страсти, чувства, морали, смерти. Нельзя отрицать, что он страшен и может быть отвратителен. Позволительно отвергнуть его, но не иначе, как вмѣстѣ с творчеством. Тот, в ком этот демон не заключен от природы или кто его изгнал из себя, никогда не существовал или погиб, как художник. Искусство — не послѣдняя правда. Можно стать выше искусства, но нельзя одновременно стать выше его и остаться в нем. В этом сознаниіи — гордое смиреніе художника.

Автор, однако ж, есть не механическое, а химическое соединеніе. Элементы, его составляющіе — Герой и Поэт — в чистом видѣ в природѣ не встрѣчаются. Как никто не видалъ живого Онѣгина, так никто не видалъ и Поэта, отдѣленнаго от живого авторскаго существа. Если бы намъ предсталъ Поэт иначе, как в соединеніи с Героем, то-есть с человѣческимъ существомъ Автора, — онъ показался бы намъ кровожаднымъ идоломъ, «болваномъ». Наличіе демоническаго начала в Авторѣ житейски смягчается, а мистически очищается и искупається его человѣческимъ естествомъ.

ПОПЛАВСКИЙ.

Кажется, никому так не умѣл раздражать приверженцев академизма и рутины, как неизмѣнно раздражал их Поплавскій. Но мы, его союзники и друзья, не имѣем никаких основаній преуменьшать значеніе Поплавскаго и скрывать свое восхищеніе. Гдѣ-то у Вовенарга не без рѣзкости сказано, что всегдашняя умѣренность мнѣній, всегдашній страх кого-либо одобрить, кѣм либо восхититься до конца, есть признак человѣческой слабости. В этих словах дано опредѣленіе особаго литературнаго снобизма, и от такого трусливаго снобизма Паплавскій страдал, как лишь немногіе, и с ним боролся сознательно и страстно.

Бывают люди обыкновенные и в то же время безспорно замѣчательные, похожіе во всем на других, но то, что у других вяло и блѣдно, у них сгущается и обостренно выражается. Бывают люди необычайные, неповторимые, ни на кого другого не похожіе и при этом вовсе не замѣчательные — их отличія и вся их обособленность неинтересны и жалко-скучны. Поплавскій был рѣдким примѣром и замѣчательнаго и необыкновеннаго человѣка. К его истокам и душевному центру просто нѣтъ и не может быть путей: мы не найдем аналогій ни с кѣм, и любая проникаемость безсильна при отсутствіи схожаго опыта. Пожалуй единственное, что нам остается — об этом судить, точнѣе, догадываться по отдаленным и сбивчивым намекам в его разговорах и стихах.

В них Поплавскій неоднократно доходил до упрямой, мучительной вѣры, такой непреложной, такой обоснованной, что ея бы другому хватило на долгіе годы, на цѣлую жизнь, но этой вѣрѣ Поплавскій измѣнял,

взволнованно отстаивал слѣдующую, и не всегда удавалось понять, что была только видимость измѣны, что сохранялось абсолютное единство. Так у нѣкоторых мнимых дон-жуанов каждая новая, неожиданная любовь — очередное высокое воплощеніе все той же единой любовной потребности. Я думаю, слушая Поплавскаго, с ним споря, с ним изрѣдка соглашаясь, мы всѣ одинаково ощущали, что эти лихорадочно-грустные слова, разнорѣчивья как будто возраженія, стремительно-рѣзкіе, смѣлые выводы, что они совпадают, сливаются в одно, что у них несомнѣнно общій источник, что за ними упрямая воля. И такое внутреннее единство неоспоримо для нас подтверждалось особенностью акцента и тона в каждой строкѣ и фразѣ Поплавскаго.

Его мысли, поиски и стремленія были всегда на каких-то высотах, он упорно пытался проникнуть в непроницаемую тайну природы и для себя упорядочить мір. Его поэзію можно назвать — едва ли условно — «поэзіей метафизики». На свои углубленные, тревожные вопросы он находил различные отвѣты, каждым из них улекался и мучился, пробовал закрѣпиться на чем-либо одном и сам себя старался увѣрить, что вот уже найден окончательный отвѣтъ, что пора успокоиться, медленно обдумать надежные, твердые возрѣнія, не оглядываясь на все остальное. Но такой «идеологической передышки» у Поплавскаго быть не могло. Судьба надѣлила его ужасным, безжалостным даром — быстро и полно исчерпывать любое очередное открытіе — и он опять куда-то устремлялся, куда мы с трудом за ним поспѣвали. Однажды о Лермонтовѣ кто-то сказал примѣнимыя к Поплавскому слова: «во всю свою короткую жизнь он вѣчно куда-то спѣшил, точно предчувствовал свой близкій конец».

К этим духовным блужданіям и поискам поневолѣ примѣшивалась умственная игра — неизбѣжное свойство одаренности и молодости — но ея становилось все меньше, и она никогда не была самодовлѣющей. Поплавскій упрямо бился над тѣм, что порой нам казалось

развлеченіем, он болѣд метафизической одержимостью и страдал от чужого недовѣрія, от мелких придирок и насмѣшек, от того, как легко его уличали в пустых и — основных — противорѣчіях. Послѣднее было даже естественным: едва привыкали его друзья к одной незыблемо-стройной системѣ, едва начанали ее понимать и смутно, во многом, с ним соглашаться, как он отталкивал, разочаровывал и словно бы спорил против себя. И только с годами сдѣлалось ясным, что разгадка была не в «системах», а в том лирическом кипѣнні, которое щедро их создавало.

Жить соотвѣтственно мысли или мыслить соотвѣтственно жизни — вот двѣ возможности творчески жить. Поплавскій придерживался первой, и люди противоположнаго склада нерѣдко удивлялись тому, как отчетливо-точно совпадали результаты их жизненнаго опыта и «абстрактные» выводы Поплавскаго. Очевидно, его абстрактная природа неуловима, по своему, питалась неподдѣльной жизненной полнотой: недаром, вся дѣятельность Поплавскаго — по крайней мѣрѣ в послѣдніе годы — превратилась в аскетическій подвиг.

Поневолѣ возникает вопрос — была ли в безчисленных у него перемѣнах и в быстрой эволюціи взглядов какая-то ясная линія, какая-то нечаянная планомѣрность? Ошибиться в этом легко, разобраться можно лишь смутно, да и ранняя смерть Поплавскаго прервала такую «эволюцію» и спутала всѣ вѣроятности, обрекла любяя предположенія на то, чтобы остаться недоказанными, но — сознавая недоказуемость своего утвержденія — я отвѣчаю, что «линія» была. Ея приблизительный смысл — в заглавіи второго романа, в рѣшеніи: «Домой с небес».

Тот Поплавскій, котораго когда-то мы знали, был эстетичеки-презрительно-одинок. Его плѣнило то, что он слышал и чего не слышали другіе — нечеловѣческая музыка искусства, особаго, ревниво-недоступнаго, — и ею он упивался, готовый «сладостно погибнуть», одна-

ко «с доброй надеждой» — единственно через нее, через эту нездѣшную музыку — возвыситься и как-то спастись. В то именно время писались его лучшіе, по моему, стихи, изысканно-прелестные и вмѣстѣ опьяняющіе, утонченные и неожиданно-сильные, с музыкальной сложностью, с отчетливым подъемом, переходившим в какой-то полет. Поплавскому это удавалось, как удавалось впоследствии иное, как становилось искусством и музыкой все, чего ни касался мимоходом его увѣренно-смѣлый талант.

Не помню его отношенія к тогдашним читателям и слушателям. Мнѣ кажется, в послѣдней своей глубинѣ он надѣялся на скорое признаніе, не заботясь о внутренней связи между ним и столь чуждой ему аудиторіей, лишь пытаясь ее ошеломить, иногда непоэтическими средствами. Признанія он не получил — чрезмѣрная замкнутость и новизна мѣшали установленію связи, затрудняли необходимую подготовку.

Затѣм сверх-музыкальный полет, неизбежное расширение темы постепенно его привели к желанію как-то охватить всѣ темы, весь мір, все явное и тайное, и он стихами уж не довольствовался. Отсюда попытка мистического синтеза — начало «Аполлона Безобразова». Я убѣжден, что для него прозаическая форма, внезапный к ней переход были огромным, рѣшающим событіем, с чѣм многіе, правда, не согласны. Но и сам он это подтверждал, и я на этом не буду останавливаться. Пожалуй важнѣе другое — то, что в період «Аполлона Безобразова» его поразила и потрясла жестокая раздвоенность міра, с которой конечно не справились ни иронія, ни покорность, ни мистика. Странаніе побѣдило абстракцію, и появилась потребность в состраданіи.

Оно первоначально пошло по легчайшему, готовому пути. Я помню растеряннаго Поплавскаго, который каждому тогда повторял: «кто не ужален соціальной несправедливостью, тот меня сейчас не поймет». Ненадолго возникло у него увлеченіе научным марксизмом, навязчиво-пристрастные разговоры о Россіи, о счастья

человѣчества. По ним судить о подлинном Поплавском, попрекать его «человѣчеством» было столь же близоруко и бессмысленно, как попрекать и «кокаинными видѣніями». Просто тѣ, кто придирались к нему, совершали логическую ошибку, принимая за цѣлое крохотную часть и осуждая короткій этап на протяженіи длительного процесса.

От соціальной, соціалистической жалости был естественный, новый, послѣдній переход — к личному, доброму, милому вниманію, к осязательной братской любви. Впервые это намѣтилось в удивительном очеркѣ Поплавскаго — «Христос и его знакомые» — и вскорѣ сказалоь буквально на всем: его чудесно потеплѣвшая проза, вдохновенныя ночныя бесѣды, какой-то мягкой, не озлобленный юмор, измѣнившіяся отношенія с друзьями, окрашенная любовью судьба, неоспоримо об этом свидѣтельствовали. Напечатанный в «Числах», чарующій «Бал» нам представлялся когда-то исключеніем. Прочитанные позже — перед смертью — отрывки из второго романа доказали какую-то прочность намѣченного прежде пути, его для Поплавскаго живую органичность.

Эта лирическая, властно заражающая проза, гдѣ психологія сочеталась с обобщеніями, гдѣ мы героев узнавали и любили, гдѣ жизненная конкретность сливалась с музыкальностью — это было, по моему, лучшее, чего Поплавскому добиться удалось, что являлось не надеждой, а достиженіем, в чем он мог бы еще развиваться. И непонятная гибель Поплавскаго для нас, его старых друзей — навсегда «открытая рана». Для вѣрных друзей русской литературы это — большое, непоправимое несчастіе.

Борис Поплавскій. «Снѣжный часъ» (посмертные стихи 1931—1935). Париж 1936.

Говорить о посмертной книгѣ стихов Бориса Поплавскаго трудно и больно. Читаешь его стихи, вспоминаешь его живой голос, и неотвязно преслѣдует мысль о человѣкѣ, эти стихи писавшем, жившем рядом с нами, стремившемся к тому же (пусть и в других формах), что и мы, и котораго теперь уже нѣтъ среди нас. Всякій отзывъ о «Снѣжном часѣ» почти неизбѣжно превращается в личные воспоминанія, некролог, а то и апологию. Все это болѣе, чѣмъ понятно. Но попробую все же писать не о самом Поплавскомъ, а о его книгѣ (подготовленной к печати еще им самим). Не буду также преувеличивать его заслуг: подлинное уваженіе к памяти поэта, мнѣ кажется, требует и честнаго отношенія к его стихам, без ложной и лживой панегирической мелодраматичности.

Я всегда считал Поплавскаго несомнѣннымъ и, потенциально, даже значительнымъ поэтомъ; считаю и сейчас, что из поэтовъ эмигрантскаго поколѣнія онъ былъ самымъ одареннымъ — и формально, и, пожалуй, духовно. Нѣкоторыя стихотворенія из первой его книги «Флаги» были прекрасны, да и почти в любомъ его стихотвореніи были строки такой глубины и пронзительности, что запоминались поневолѣ и сами собою. И все таки «Флаги» мнѣ не казались окончательной удачей. Большинство стихотвореній были как то разжижены, наполнены строчками приблизительными и часто онѣ то и составляли почти все стихотвореніе, терявшее свою форму и свою внутреннюю цѣнность.

Измѣнился ли Поплавскій послѣ «Флаговъ»? Первое впечатлѣніе от «Снѣжнаго часа», что онъ не очень измѣнился. Может быть в общемъ стихи ровнѣе подобра-

ны, но приблизительных стихотворений, держащихся отдельными строчками все же много. Кое что из прелести ранних стихов Поплавскаго даже утеряно: таких сразу же поражающих стихов, как в «Мореллѣ», «Черной Мадоннѣ», «Рукописи в бутылкѣ» в новой книгѣ мы не найдем. Но первое впечатлѣніе очень ошибочно. Поплавскій внутренне рѣзко измѣнился и если не поэтически, то духовно и душевно сильно созрѣл и углубился. Несмотря на поверхностное сходство со своими старыми стихами, он говорит в «Снѣжном часѣ» совсѣм другим тоном — болѣе сосредоточенным, болѣе трезвым, сознательным и главное — болѣе смиренным. Трудно опредѣлить в чем именно заключался недоверенный опыт Поплавскаго: в его стихах звучат ноты и мистическія, и созерцательно-религіозныя, и спокойно-философскія. Но что в его опыт одним из элементов входило смиреніе, по моему, несомнѣнно.

Выйди в поле, бѣдный горожанин,
Посиди в кафе у низкой дачи.
Насладись, как бѣглый каторжанин,
Нищетой своей и неудачей.
Пусть над домом ласточки несутся.
Слушай тишину, смежи рѣсницы.
Значит только нищіе спасутся.
Значит только нищіе и птицы.

Во «Флагах» была такая строчка: «Бог звал меня, но я не отвѣчал». Смирившись, или во всяком случаѣ смиряясь, Поплавскій кому то отвѣтил, на что то отозвался. В первой книгѣ он, одаренный чувством жизни, оставался к ней равнодушным. В «Снѣжном часѣ» он идет навстрѣчу жизни, стремится именно к жизни во всей ея полнотѣ, и простотѣ. Вѣроятно так надо толковать название одного стихотворенія — «Домой с небес». (Мы знаем, что так же назвал Поплавскій и свой ненапечатанный роман). Для Поплавскаго воскресла земная жизнь (в противоположность не так «небесам»,

как уединенному созерцанію), воскресла природа. Он увидѣлъ не условно декоративный пейзаж его прежних стихов, а живой лѣсной или приморской. «Над солнечною музыкой воды, Там, гдѣ с горы сорвался берег в море.» Как кратко, и вмѣстѣ с тѣм, как красочно нарисовано. Раньше Поплавскій хотѣлъ «лѣчиться от желанія жить и от печали». В послѣдних своих стихах он принял и жизнь, и печаль, и радость. Говоря нѣсколько условно, Поплавскій, сильно зараженный декадентством, но внутренне ему во многом противоположный, захотѣлъ от него отказаться, и даже вступил с ним в борьбу. Повидимому, Поплавскій был накануне освобожденія от всяких вліяній, накануне полного нахождения самага себя. Путь к этому, во всяком случаѣ ему был открыт. Поэтому так жива память о нем и так мучительна боль при мысли о его смерти.

Юрій Мандельштам.

Виктор Мамченко. «Тяжелыя птицы». Париж 1936. Изд. Объединенія Поэтов и Писателей.

В стихах Мамченко поражает отсутствіе «обиходнаго» поэтического языка. Его слова — тяжеловѣсныя, неотдѣланныя, громоздкія; для того, чтобы строить из этого сопротивляющагося матеріала, ему нужно постоянное усиліе. Мамченко ворочает огромными глыбами с напряженіем всѣх сил, изнемогая и отчаиваясь. Его стихи не «сдѣланы» потому что они «дѣлаются» на наших глазах. Нѣтъ в них ничего законченнаго, достигнутаго, остановившагося. Все в движеніи, в стремленіи, в мучительном усиліи. Символ его поэзіи — всадник, мчащійся «по срывам вздыбленных скал», скакун, скачущій среди пропастей, обрывов, ночных тѣней, вихрей и мятелей. Страшный, захватывающій дух и леденящій сердце бѣг, гдѣ каждая остановка грозит гибелью, гдѣ впереди — огненный меч Архангела, а позади «с прозрачной бездною в глазах» мерцает Ничто.

Темныя силы обступают со всѣхъ сторон, конь храпитъ «весь в пѣнѣ яростной и розовой от крови»; туманной цѣпью плывутъ воспоминанія о простыхъ земныхъ радостяхъ — память о солнечныхъ лѣтнихъ дняхъ и звѣздныхъ ночахъ, о печальной земной любви, о юношескихъ мечтахъ и о «страшномъ блаженствѣ». И только одно: добѣжать, доскакать, вырваться изъ круговъ этого ада, не погибнуть въ борьбѣ со страхомъ и отчаяніемъ, не сойти с ума, проснуться и увидѣть:

Переполненной чашей цвѣтовъ проливались сады,
И поля тяжелѣли колосьями роснаго хлѣба;
Возвращался на землю с крутой высоты
Вечер синяго неба.

Стихи Мамченко напоминаютъ записи снов: содержаніе ихъ помнится смутно, но звуки и ритмы чего то бывшаго, реально пережитого, преслѣдуютъ поэта. И онъ пытается — с какимъ мучительнымъ, судорожнымъ усиліемъ! — перевести эти ритмы на слова и образы. Логическій смыслъ его стиховъ часто неясен и труден, но если почувствовать, что бьется, дышетъ и волнуется подъ этимъ смысломъ, тогда открывается иная, внутренняя логика этой поэзіи, ея напряженная, бунтующая жизнь, ея цѣльность и предѣльная искренность. Стихи Мамченко мрачны, но не тоскливы. Онъ борется и не смиряется; онъ полонъ тревоги, но ему чужда пассивная, самоулаждающая тоска.

К. Мочульскій.

Анатолій Штейгер. «Неблагодарность». «Числа». Париж. 1936.

Даже если не касаться вопроса о «гибели искусства», все-же невольно все, что «случается» въ литературѣ за послѣднее время, воспринимается какъ — с комплексомъ

мыслей (в области вкуса, довѣрія, ожиданія), который образовался вокруг этой темы.

Справедливо-ли это, внимательно-ли в отношеніи каждаго даннаго автора, не знаю — но к книгѣ (особенно стихов) подходишь именно с таким чувством: гдѣ-то (и не важно точно, когда и как) как-бы разбилась огромная, драгоценная ваза и вот эти осколки большой настоящей поэзіи находишь то тут, то там, всегда с радостью, смущеніем и благодарностью.

«Неблагодарность» — третья книга стихов Анатолія Штейгера — цѣликом такая находка (о первых двух этого нельзя было сказать — не было в них ни той скромности, ни грустной страстности, которая есть в послѣдней).

О чем эти стихи? Не важно. Тема стихов Штейгера как-бы мельче (и болѣе личная), чѣм внутренняя их устремленность. Внѣшне (и не только, конечно) стихи эти гибкіе, тонкіе и странно-крѣпкіе. Болѣзненность их только поверхностна и как-бы привычно-дѣланная.

В глубинѣ поэзіи Штейгера нѣтъ той «метафизической гнили», от которых распадается поэт, она существует только в «поэтической психикѣ» его, чуть, чуть патологической. Ею-же рожден непогрѣшимый вкус и слух и легкая, талантливая неподчеркнутая манера.

Но сквозь все это — здоровое по существу отношеніе к міру: потенциально-страстное, доброе и тѣлесно-мудрое. «Матерія» этих стихов благородная.

«Ты осудишь. Мы не виноваты
Мы боролись и не шли к грѣху».

Дѣйствительно такіе, как Штейгер «не виноваты». Чувствуешь, читая «Неблагодарность» (кстати странное, как-бы «от противнаго» названіе), что если-бы ему позволила жизнь, какой-бы это мог быть свободной и освобождающій вздох. Здѣсь-же скорѣе стон сдавленный (и сдержанный) — недоумѣнія и иногда надежды.

Можно конечно, (легче, чѣм у многих) прослѣдить генеалогію стихов Штейгера. Георгій Иванов, Ахматова, Анненскій. . . не в этом конечно дѣло, стихи эти как-бы закончены, каждое в своем неповторимом моментѣ.

Несмотря на то, что книга в бѣльшей своей части написана не в Парижѣ — чувствуется связь органическая и преданная с семьей здѣшних поэтов, живущих выдуманной, отрѣшенной и нищенской (внутренне) жизнью.

Книгу узнаешь по безошибочному признаку: всегда конкретный повод, часто незначительный (от повышенной задѣваемости), почти сознательные приемы и рядом с этим подлинное (не интеллектуальная у Штейгера — эмоциональная скорѣй) метафизичность.

Как многое лучшее в поэзіи — стихи эти как-бы за всѣх написаны. Неслучайно у него частые и трогательные «мы», «нас». Многое в книгѣ поддается цитированію, что всегда признак жизненности.

Предпоследнее стихотвореніе (из лучших в сборникѣ) могло-бы послужить эпиграфом не только к антологіи современной поэзіи, но к какому-то смыслу, к быту ее.

Мы уходя большой костер разложим
Из писем, фотографій, дневника.
Пускай горят. . .
Пусть станет сад похожим
На крематоріум издалика.

Штейгер очень талантлив, потому-что убѣдителен — сквозь всю недоговоренность и капризность. Но не в этом дѣло. Значительный вопрос: как-же быть таким, с такой судьбой? Не отвѣчая на этот вопрос, хочется подѣлиться первым чувством от этой книги (каким-же привѣтом грустным, присланным сюда из Швейцаріи): признательности автору и за то, что ко всему, о чем он пишет, относятся его-же слова:

«Все-таки нас это тоже касается», — и очень близко.
Л. Червинская.

Юрій Фельзен. «Письма о Лермонтовѣ». Париж.
1935.

«Письма о Лермонтовѣ» являются только частью цѣлаго цикла романов, и поэтому трудно писать о них, как о самостоятельной, законченной вещи, — только нѣсколько слов, не столько о самой книгѣ, сколько по поводу нея.

Первое, что бросается в глаза в манерѣ Фельзена это кажущаяся честность, трезвость, отказ от «нас возвышающих обманов». Но в дѣйствительности, если взглянуть, можно сказать как-раз обратное: какая *литература!* Как все выдуманно, искусственно, совсѣм не так, как «бывает». Сочетание нарочито-сѣрой правдивости в каждом отдѣльном моментѣ с каким-то поэтическим, все-таки обманом в произведении в цѣлом заставляет лишній раз задать себѣ вопрос: гдѣ грань между познавательной и творческой дѣятельностью человеческого духа? Гдѣ безусловная правдивость переходит в правдивую условность? Наверно, чувство этой черты и есть литературный талант. Письмо есть «человѣческой документ», но Фельзен именно письмо превращает в противоположное «человѣческому документу», самое непосредственное — в самое вымученное и провѣренное, — таких писем не бывает, — и в этом, мнѣ кажется, формальное его дерзаніе, и, может-быть частичная неудача. . .

Это формальное дерзаніе вполне отвѣчает внутренней структурѣ Фельзена. Среди всѣх новых писателей эмиграціи он единственный, пытающійся найти тот синтез дѣятельности и созерцанія, который и есть живое любовное творчество. В этом смыслѣ и книга его перестает быть «литературой», и становится жизненным дѣлом, уясненіем себѣ и выраженіем душевнаго опыта для продолженія его, и все болѣе и болѣе сознательнаго примѣненія в жизни, и тѣм самым снова становится литературой, но уже в том единственно нужном и высочайшем ея значеніи, когда «слова поэта суть дѣла его».

Фельзен отнюдь не субъективен, как может показаться сначала. Основное его стремление — найти синтез субъективного и объективного, созерцания и действия, или, пользуясь его собственной терминологией, любви и творчества. И тут, находясь всем своим существом вне безполага, бесплоднаго, программно-человколюбиваго активизма, отрицая его, (и будучи в этом смыслѣ самым несовѣтским из здѣшних писателей), Фельзен, мнѣ кажется, склонен приписывать, все-же, творчеству, а не любви глазное значеніе в жизни. Конечно, творчество и любовь нераздѣльны, и Фельзен слишком глубок, чтобы не знать этого, но, все-таки, эмоциональное удареніе у него именно на творствѣ, можно даже сказать, как это ни парадоксально в примененіи к Фельзену: на онтологической, а не психологической сторонѣ любви! Творчество чувствуется им, как самое основное как Добро с большой буквы, как Гетевское «Am Anfang war die Tat», но в переводѣ немного слишком добраго, логическаго, «французскаго» Фауста. . . Любовь-же, будучи у него только субъективно единой, но не в своем объектѣ. *тѣм самым* становится, как-бы, только средством для творчества. Фельзену несомнѣнно одинаково чужды и Тристан и Афанасій Иванович. Похоже, однако, на то, что полное соединеніе созерцанія и дѣйствія, любви и творчества, происходит в *вѣрности*, что вѣрность и есть полное совпаденіе того, что «внутри» с тѣм, что «извне». Недаром, во всем, что Фельзен пишет о Лермонтовѣ, нѣтъ никакого намека на то Лермонтовское, в чем, как послѣдняя, недоразсказанная святыня, звучит вѣрность, (в единственных и неповторимых, только Лермонтовских, интонаціях эпитетов: «святой», «чудный»), — и «Валерик» Фельзену безусловно ближе, чѣм «Мцыри», как жизнь и страданіе в этом мирѣ роднѣе смутной тоски о цѣльности какого-то недостовѣрнаго рая.

Несмотря на нѣкоторую трудность слога, книга Фельзена читается с неослабѣвающим интересом и вызывает много попутных мыслей и чувств, заставляя

с нетерпѣніем и вниманіем ждать, что-же будет с Фельзеном дальше?

Л. Кельберин.

В. Сирина. «Отчаяніе». Изд. Петрополис. Берлин.

Вмѣстѣ с «Защитой Лужина», «Отчаяніе» представляется мнѣ самым характерным из сириных романов, наиболее близким к центральному ядру его творчества. Как раз поэтому о нем и нельзя говорить в отдаленности, внѣ связи со всѣми другими книгами очень сложнаго этого писателя, котораго привыкли у нас судить сплеча, о котором и поклонники и враги повторяют почти всегда однѣ и тѣже примелькавшіяся фразы и который несомнѣнно заслуживает с нашей стороны гораздо болѣе пристального вниманія. Рецензіи об «Отчаяніи» в сущности писать не стоит. Всѣ, кто не потерял еще интереса к русской литературѣ, этот роман прочли или прочтут. Всѣ кто еще не утратил чувства словесной новизны и мѣткости в русской прозѣ, оценят огромное дарованіе его автора. Дальше начнутся разногласія, а по поводу этой одной книги о них то как раз и неплодотворно разсуждать. Ограничусь поэтому простым указаніем на одну лишь черту, ту самую, что особенно роднит «Отчаяніе» и «Защитой Лужина».

Тема творчества Сирина — само творчество; это первое, что нужно о нем сказать. Соглядатай (в повѣсти того же заглавія), шахматист Лужин, собиратель бабочек Пильграм, убійца, от лица котораго разсказано «Отчаянье», приговоренный к смерти в «Приглашеніи на казнь» — все это разнообразные, но однородные символы творца, художника, поэта. Вниманіе Сирина не столько обращено на окружающій его мір, сколько на собственное я, обреченное, в силу творческаго призванія своего, отражать образы, видѣнія или призраки этого міра. Безсознательныя или осознанныя мученія этого я, какое то беспомощное всемогущество его, непрощенная власть над вещами и людьми, которые на

самом дѣлѣ совсѣм не вещи и не люди, а лишь порожденія его собственнаго произвола, от которых ему тѣм не менѣе некуда бѣжать, — таково по разному выраженное, но тождественное в глубинѣ содержаніе всѣх перечисленныхъ разсказовъ и романовъ, отнюдь не предрѣшающее, конечно, внѣшней ихъ фабулы и безъ труда соединяемое (напримѣр в «Приглашеніи на казнь») с мотивами совсѣм иного рода. Другія книги, болѣе автобіографическія по основному использованному в нихъ матеріалу (какъ «Машенька» и «Подвигъ») или непосредственно отражающія механизированный современный міръ (какъ «Король, дама, валетъ» и «Камера обскура») не относятся, несмотря на всѣ свои достоинства, къ главному, что онъ создалъ и что призванъ былъ создать. Видѣнія отрочества и противопоставляемая имъ бездушная городская суета встрѣчаются и в «Лужинѣ» и в «Отчаянны», но здѣсь они соединяются с тѣмъ основнымъ душевнымъ опытомъ, что даетъ сириинскому искусству его самый сокровенный и самый личный смыслъ.

Замыселъ «Отчаянья» — сложно задуманное преступленіе, все же выдающее преступника в результатѣ пустяковой оплошности его — кажется на первый взглядъ вполне разсудочнымъ и доступнымъ детективнаго романа. Однако волненіе проникающее в самый ритм повѣствованія и языка, уже свидѣтельствуетъ о многопланности постройки, и надрывной тонъ взвинченный с первыхъ же строкъ до крайняго напряженія относится и къ автору, а не только къ его герою. Стремленіе переселиться в собственнаго двойника, вывернуть наизнанку окружающую разсказчика дѣйствительность, совершить в убійствѣ какъ бы опрокинутое самоубійство, и наконецъ неудача всего замысла, обнаруженіе за всѣми фикціями и призраками, за распавшейся дѣйствительностью и разрушенной мечтой, голой, трепещущей, обреченной на смерть душевной протоплазмы, — развѣ все это не сводится къ сложному иносказанью, за которымъ кроется не отчаяніе корыстнаго убійцы, а отчаяніе творца, неспособнаго повѣрить в предметъ своего твор-

чества? Это отчаяніе и составляет основной мотив лучших сириных твореній. Оно роднит его с самым показательным, что есть в современной европейской литературѣ, и оно же дает ему в русской то мѣсто, которое кромѣ него некому занять. Об этом можно и слѣдовало бы сказать еще гораздо больше, сопоставить с концом «Отчаянія» смерть Пильграма и прыжок Лужина в разбитое окно, но и самага наличія этой одной черты достаточно, чтобы запретить нам относиться к Сирину всего лишь как к неотразимому виртуозу, все равно придаем ли мы этому слову порицающій или хвалебный смысл.

В. Вейдле.

Яновскій. «Любовь вторая». Париж.

В книгѣ Яновскаго двѣ темы, а связь между ними, вѣроятно ясная автору, осталась невоплощенной.

Темы эти — нищета и духовное просвѣтленіе. На первый взгляд мостик перекидывается сам собой. Десятки случаев из повседнежнаго нашего быта, в особенности быта теперешняго, у всѣх перед глазами. Бѣдность, встрѣченная сначала, как несчастье, для многих стала утѣшеніем, почти что «путем к небу». Евангельскія слова о верблюдѣ и игольном ушкѣ наполнились новым, менѣе лаконическим, менѣе формальным смыслом: не потому богатый осужден, что он не помогает другим, а потому что от холода у него очерствѣло сердце, устраивай он какія угодно больницы и убѣжища.

Но книга Яновскаго — не об этом. Тѣ, распространившіеся теперь случаи просвѣтленія — от слабости, от отчаянія. Религія — послѣдній костыль, на который опирается падающій, больше у него ничего нѣтъ. Не надо осуждать. Нельзя иронизировать. «Да сияют образа эти вѣчно», правильно писал Розанов в предисловіи к «Лунному свѣту». . . Но только — как бы это осторожнѣе сказать — случаи эти не убѣдительны.

Неубѣдителен выбор, когда в сущности ничего другого и нельзя выбрать. Неубѣдителен «путь», если всѣ остальные пути завели в тупик. Лучше поздно, чѣм никогда — но «рано» было бы все-таки еще лучше.

По тону и внутреннему строю «Любви второй» можно предположить, что Яновскій с этим согласен. Он пишет о страсти в вѣрѣ, а не о соломинках, за которыя хватаются изнемогшія руки, он пишет о такой духовной бурѣ, которая не оставила бы камня на камнѣ ни в каком сознаниі. За чѣм ему было терзать свою героиню нищетой? Какая связь, повторяю? Гдѣ переход? Сцена на колокольнѣ Нотр-Дам сама по себѣ прекрасна. Но художественный замысел есть не мозаика, а живой организм — и только то, что одушевленно единым дыханіем индивидуальной его жизни имѣет в нем значеніе. Иначе получается не роман, а сборник ужасов или анекдотов.

«Любовь вторая» не представляется мнѣ поэтической удачей автора. Но если я позволяю себѣ откровенно и рѣшительно это сказать, то лишь потому, что предъявляю Яновскому не совсѣм обычные, средне-беллетристическія требованія. Он сам на такое отношеніе к себѣ вызывает. Он многого хочет от творчества и не довольствуется пустяшным удовольствіем от ничтожных успѣхов. Поэтому, срыв его замысла творчески-интереснѣе и значительнѣе многих эфемерных «достиженій», мѣстных или совѣтских.

Если оставить эту мѣрку, надо сказать, что в «Любви второй» — особенно в «нищенской» ея части — много превосходных, трудно забываемых страниц.

Г. Адамович.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

<i>Борис Поплавскій. Домой с небес</i>	3
<i>Ю. Фельзен. Вечеринка</i>	21
<i>Сергѣй Шаршун. «Вожираp»</i>	32
<i>В. С. Яновскій. Розовыя дѣти</i>	50
<i>А. Зуров. Новый вѣтер</i>	70
<i>В. Емельянов. Люль</i>	80

Склад издания:
PETROPOLIS-VERLAG A. G.
BERLIN W 15
MEINEKESTRASSE 19

Для Франции и Бельгии:
MAISON DU LIVRE ETRANGER
PARIS VI
9. RUE DE L'EPERON